

Наталья Проталина

Повести галантных времен

ТАБАКЕРКА

18+

Наталья Проталина

**Табакерка. Повести
галантных времен**

«Автор»

2023

Проталина Н. Г.

Табакерка. Повести галантных времен / Н. Г. Проталина —
«Автор», 2023

Царствование Екатерины II. Расцвет фаворитизма. Екатерина – истинное дитя своего легкомысленного века, хотя она не из тех, кто цинично попирает приличия. Императрица всеми доступными средствами сражается с одиночеством, ища в сонме придворных близкую душу. Ее внимание привлекает граф Алексей Погожев, недавно возвращенный из опалы. Граф молод, недурен собой, увлечен созданием крепостного театра. Погожев польщен благосклонностью царственной дамы. Кажется, будто нет на свете более удачливого человека, чем граф. Однако удача внезапно отворачивается. Императрица, заподозрив в измене, удаляет графа от двора, гибнут при подозрительных обстоятельствах близкие Погожеву люди. Его самого обвиняют в краже важных государственных бумаг. Как следствие, презрение окружающих, арест, пытки и острог. Погожев невиновен. За всеми его несчастьями стоит коварный недоброжелатель. Но как понять, кто он и какую преследует цель, если на дворе восемнадцатый век и метода дедукции еще не придумали...

© Проталина Н. Г., 2023

© Автор, 2023

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.	5
Глава первая. Превратности судьбы	6
Глава вторая. Ящичек Амура	21
Глава третья. Переломление несчастной воли судьбы	32
Глава четвертая. Печальная Венера	45
Глава пятая. Капризы Полигимнии	53
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Наталья Проталина
Табакерка. Повести галантных времен

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Пасынок Фортуны

Глава первая. Превратности судьбы

Зима 1785 года

Граф Алексей Васильевич Погожев открыл глаза. Занавеси алькова были разведены по сторонам, и он уж знал, отчего проснулся в такую рань. Портьера на окне судорожно колотилась о раму от ледяного ветра, налетающего с Невы. Холодный серый предрассветный воздух властно врывается в комнату, заполняя собой все ее пространство. Алексей Васильичу было холодно. Он потянул на себя одеяло и тут же услышал сонное причмокивание. Нахмурился. И теперь почувствовал, как кто-то стискивает сорочку у него на груди. Да кто не видно, персона укрыта по самую маковку. Граф попытался вспомнить, кто бы это мог быть, но хмельная голова затрещала от непосильной работы. Знал только, что уж точно не жена...

Посмотрел на руку, тянущуюся к его груди из-под одеяла. Вот перстень, что сиял на безымянном пальце, признал. Сам подарил его примадонне театра своего Степаниде Лапиной после премьеры «Земиры и Азона». Стало быть, Степанида. Он снова потащил на себя одеяло. Стешка высунулась из-под него как лиса из норы и, мурлыкнув, потянула к нему свое заспанное лицо.

– Поди лучше окошко прикрой, – нахмурился граф Алексей Васильевич, которому об эту пору нежностей не хотелось.

Она капризно надулась. Но он содрал с нее одеяло и небрежно шлепнул по оголившейся плоти. Стешка послушно поднялась и крадучись босыми ногами по студеному полу, отправилась выполнять графскую волю. Подойдя к окну, поежилась и выкрутила свою натуру так, чтоб представить ее в наивыгодном свете. Знала слабости его сиятельства. Но вместо того чтобы поманить на ложе, граф велел ей идти прочь. Степанида чуть не топнула ногой с досады, да нешто с графом это пройдет. Вот со швейками, с куаферами, с хористочками и всякими травести топай себе на здоровье, все они ее топы очень сильно переживают и ходят потом шелковые, а граф другое дело.

– Сама знаешь за что, – незлобиво пояснил граф, – больно громка и ретива... а после не можешь верхнюю ноту взять. Горло береги...

Стешка потупилась, вспомнив давешний спектакль... Ну не вытянула она опосля бурной нотки «ми» верхней октавы! Ну так что ж? Всего то единый раз с ней таковая досадная случайность приключилась... Однако с графом препираться бесполезно. Вдохнула и поспешно собрала вещички.

Когда дверь за ней затворилась, он повернулся на боковую и свернулся калачиком. Думал, поспит себе вволю. Но лишь задремал, а потом словно торкнуло что-то. Вздрогнул и на подушке приподнялся. Хмель ушел совсем и непокой на душе снова разыграл, хуже даже разыграл чем вчера вечером. Но тогда он его винцом притушил, а теперь что? Не хлебать же с утра горькую.

Но мысли одна хуже другой лезли в голову. Он вспомнил, как вошел вчера на куртаг к императрице. Она разговаривала со светлейшим князем Потемкиным, но сразу оторвала от Потемкина взор, как только объявили о нем. Взгляд ее величества, направленный на него, графа Алексея Васильевича Погожева, статного красавца двадцати девяти лет от роду, был полон интересом и Еще что-то в нем читалось. Толи вызов, толи надменная холодность. Впрочем, она улыбалась. Улыбалась, как могла улыбаться только она одна. И никак нельзя было знать вточности, что эта ее улыбка значит.

К ручке его допустили, но даже пустого не спросили. Императрица Екатерина Алексеевна только кивнула (благодаря ли?) и сложенным веером показала на собравшихся в зале придворных, мол, изволь граф с другими разговоры говорить. Сама же обратилась вновь к сво-

ему Циклопу. Тот проводил графа ехидным взглядом, что засветился в его единственном глазу сразу при графском приближении к трону, но и слова не сказал, руку подал нехотя, но все же подал. Никакой явной вины графа ни в чем не было, хотя, если разобраться, то и неявной тоже.

Граф приподнялся на локте и сердито вмазал кулаком по подушке. Да если даже и была какая где вина, то уж допрежде всего перед собой граф был виноват, но и тут даже не он, а его переменчивая фортуна. Она вознесла его на самый верх, она же оттуда и скинула. Не шутка была попасть в случай без протезирования самого светлейшего, а также и минуя пробирную даму Протасову. Одному Григорию Орлову удалось, да это было еще во времена оны – тогда государыня и государыней-то не была, а была обойденной вниманием мужа великой княгиней, Бог весть, что было у нее впереди.

Теперь же все иное. Теперь есть Григорий Александрович – морганатический супруг, как поговаривали, да еще и доставитель молодых красавцев для царских утех. Он же Алексей Васильевич, попал в альков минуя его строгий отбор и все прочие инстанции, да вот долго там не задержался, по капризу злодейки судьбы и к злорадству Потемкина, наверное. Алексей Васильевич вовсе не был уверен, что Потемкин сильно злорадствовал и что он злорадствовал вообще – по той простой причине, что не был уверен, воспринимал ли его Потемкин достаточно серьезно, чтобы испытывать какие-либо чувства по поводу его возвышения или падения. Мелкопоместный дворянчик по рождению, Потемкин за последние лет десять столь возвысился, что уже не советником и другом императрицы себя мнит, а уж чуть ли и не самим императором. Что и говорить, вот с ним фортуна обошлась куда более милостиво – даже молоденькие красавцы фавориты не могут перейти ему дорогу, идет все вперед да вверх, хотя, конечно, тоже иногда спотыкается. Но вовсе не так как Погожев – на ровном месте, да еще так чтобы полететь лицом в грязь.

Грязь! Истинно грязь! А как еще можно назвать всю эту нелепую историю с Прасковьей Вертуновской. Жена! Да какая она ему жена?! И как только Екатерина Алексеевна могла подумать, что он, граф, пожелает связать судьбу со столь легкомысленной особой!

Тьфу! Добро бы княжна Полетаева, девка в соку, а по всем приметам еще девица. Краснеет от любого смелого слова и кокетничать-то не умеет, хотя собой так пригожа, что дух захватывает при одном взгляде. Недавно при дворе, а то бы уж и ее испортили, как Параську Вертуновскую, ну не поворачивается у него язык назвать свою благоверную графиней Погожевой. Зол был на нее, что расставила ловушку и зол на себя, что в нее так глупо влетел.

Как же это все случилось? Граф зажмурился, словно так можно было не пустить неприятные картины, что всплывали в памяти. Впрочем, чтож. Куда деться от тяжелой думы, коли сама лезет в голову. И хмельным не запьешь. А дума вела к такому выводу, что видать, так на роду написано.

И винить ли родителя, что верой и правдой служил царю Петру Третьему, когда надо было вовремя прозреть и переметнуться на сторону его куда более спорой супруги. Не видели Погожевых среди тех, кто возвел Екатерину Алексеевну на престол, зато всяк мог бы сказать, что оные не щадя живота своего защищали интересы Петрова внука – государя. Его главенство было для них непреложно. Вот оттого не заслужили Погожевы при государыне Екатерине Алексеевне ни милостей, ни должностей, ни особых чинов. Дядька Михаил Погожев бездетно скончался в деревне, а отец Василий Федорович, на то время уже овдовевший, высочайшим повелением был отправлен на Урал на Горнощитский мраморный завод. В помощь, а более для надзора за Михаилом Колмогоровым – архитектурным помощником генерал-майора Якова Данненберга, что возглавил Екатеринбургскую экспедицию по изысканию камней.

На участь свою отец не сетовал, так как сидеть безвыездно в деревне, как сие было предписано молодой государыней, ему уже было не в мочь. К тому же, делом изыскательским он проникся основательно и, без преувеличения можно сказать, самозабвенно оным увлекся. Потом уже, куда не бросала его судьба, Василий Федорович не оставлял своего увлечения. И

на берегах Поморских и в болотах чухонских собирал он камни – разглядывал, описывал и в какие-то особые коробки укладывал. За это за все и прослыл чудаком, да с этим прозвищем и умер.

После смерти отца Алексей Васильевич получил распоряжение вернуться в Петербург пред светлые очи. Что сие означало – что Погожевы прощены или что сын за отца не отвечает, – кто же знает, что было на мысли у государыни.

Возвратясь в столицу, которую покидал еще в молодых ногах, Алексей подивился ее преображению. Хоть и юн был, а хорошо помнил он грязноватый город, где хорошо мощены были лишь Невский прешпект, да ближние к дворцу улицы. На тех же, что были подале от глаза государева, при большой непогоде сапоги тонули в вязкой жиже, да к тому ж несло навозом, точно город был не город, а одна большая конюшня. Теперь Петербург оформился, словно подросшая девица, принарядился красивыми фасадами, зазолотился маковками церквей, да и мостовых настоящих поприбавилось. Стал Петров город уютным, что значит хорошая хозяйская рука!

Да не только это подивило его в Питере-городе. Балы, куртаги, красавицы, театры. Молодому провинциалу все это в миг голову вскружило, да так, что и не остановишь. Он танцевал на всех балах, увлекался всеми хорошенькими дамами и девицами сразу, дрался на дуэлях, сорил деньгами и даже писал стихи. Благо отец вовремя озаботился тем, чтобы в Екатеринбург выписать учителей, которые, среди прочего, обучили Алексея танцам, французскому языку и галантным манерам. Сии науки оказались не в пример математике куда как нужными и полезными. Молодой Погожев в них преуспел изрядно и потому в придворных кругах сразу утвердился как человек светский, ловкий и обаятельный. А его страсть до всяких затей и вовсе добавляла ему привлекательности. Но в интригах граф Погожев был не силен. На том и погорел.

Прасковья Вертуновская – записная кокетка и редкостная вертихвостка быстро его заприметила, а заприметив стала обхаживать, да так смело и решительно, что граф сперва опешил. Отмахнуться от намеков дамы было не в правилах галантного века, да и что товарищи подумают. Прасковья всегда была желанной гостьей во всех постелях по причине большой опытности и умелости в любовных делах. Кроме прочего была у Прасковьи столь заманчивая и волнующая грудь, что молодому человеку страсть как хотелось испробовать ее тепло и негу на ощупь. Парасья знала свой козырь и платья шила такие, что ее выигрышное место было всегда как можно более открыто. Бывало, на балах он взгляду не мог оторвать от ее глубокого выреза, а то и танцевальные фигуры забывал.

Прасковья нежно смеялась. Округлости пружинисто вздрагивали. Одежда графу становилась тесна. Он краснел, заикался и спешил отойти в сторону, дабы конфуза какого не случилось. Она же все это очень хорошо понимала и однажды, когда уж он был доведен до полного отчаяния оттого, что не решался сделать даме смелое предложение, пошла на абордаж сама. Да так ловко все это у нее получилось, как будто не она его атаковала, а он сам решился на приступ. Впрочем, тогда ему было не до раздумий. Молодая кровь выиграла и – вот они уже в ее постели очутились, и уж тут Прасковья все свое искусство проявила. Молодой граф, не сильно еще искушенный в любви, испытал такое, что и вовсе думать забыл аж на целый месяц.

Целый месяц продолжались их тайные (в которых, впрочем, ни одна живая душа не сомневалась) свидания. Они переглядывались на людях, и он краснел, а она опускала глаза и прикрывалась веером. Он писал ей стихи, она по-прежнему нежно смеялась и теперь еще томно вздыхала.

Но вот томные вздохи переросли в печальные, нежные взгляды в сердитые и порой негодующие. Она все чаще отбивалась от его ласк и вот, наконец, плача заявила, что лучше им расстаться оттого, что он ее не любит, а уж ей это сносить рядом с ним свершено невыносимо,

и что если он ее не оставит, то она непременно уедет в деревню к родне, потому что силы ее уже на пределе – такого изнеможения от неразделенной любви она может и не выдержать.

– Но позвольте, Прасковья Ивановна, отчего вы так думаете, – промямлил граф, все еще с трудом соображая, – я очень к вам чувства питаю особливые Не то, что к иным дамам . . .

– Ах, оставьте. Это слышать совсем невозможно, – ответствовала Прасковья, уткнувшись лицом в платочек, – особливые чувства – это вовсе еще не любовь.

– Ну отчего ж вы так думаете, – поспешил опровергнуть граф, сам еще не понимая, что летит в ловушку, как мотылек на свет свечи, – мне совсем обратное кажется . . .

– Кажется, – разочарованно вздохнула Прасковья, подняв на него затуманенный взор, полный укоризны, которую ему было не вмочь выдержать.

– Да и не кажется вовсе. Пожалуй, я даже уверен, что это . . . , – он помедлил немного, но рубанул с плеча и произнес роковое слово, – любовь.

– Отчего ж вы молчали столько времени, – все с той же укоризной проговорила Прасковья, – может оттого что думали, что я не смогу стать вам верной подругой жизни?

Вопрос был поставлен более чем конкретно и Алексей, который было уже собрался отбить новый ее выпад легким маневром, неожиданно постиг смысл слов. Он встал истуканом и не решился теперь уже не в чем уверять красавицу. Как уверять – мигом к алтарю потащит, а он еще и в мыслях женитьбу не держал. Плохо ли на воле? Она однако сверлила его взглядом, отчего ему делалось не по себе. И взгляд еще цепкий такой – не увернешься. Что бы сказать? Что-то такое спасительное вертелось в голове. Вертелось, вертелось и всплыло.

– Не посмею жениться я, Прасковья Ивановна, пока службу отечеству и государыне не сослужу, – сказал он бравурно.

Это был отцовский наказ. Отец вполне оценил милость Екатерины Алексеевны, которая Погожевым большого зла не сделала, хоть и могла бы, имея все основания. Оттого отец так и наставлял Алексея – служи государыне и постарайся проявить себя, ибо она добрая мать отечеству, а я по молодым летам того еще не понял, так ты, сын, уж восстанови доброе наше имя. В этот нелегкий час слова его вспомнились, чтобы вызволить Алексея из беды. Тут Параске парировать было нечем.

Однако она и не пыталась.

– Сие похвально, Алексей Васильевич, – кивнула она, благочинно сложив руки на коленях, – вы уж не думайте обо мне. Отечество и государыня должны заботить вас о первую голову.

Тут она нежно и согласно улыбнулась и, встав с креслица, дала понять, что уж теперь желает побыть одна.

Страх перед женитьбой его отпустил. Да тут заговорила жалость, да еще . . . Еще, пожалуй, нежелание потерять хорошую любовницу. Он подошел к Прасковье и ласково пообещал.

– Вот уж как смогу проявить себя перед государыней, так уж и . . .

Она посмотрела ему в глаза. Сначала недоверчиво смотрела, а потом что-то вроде в них увидала. Развеселилась, бросилась на шею, да давай его обнимать-целовать, а тут и тетка ее вошла Мавра Павловна Гречишкина, что жила при дворе и слыла подругой Марьи Саввишны Перекусихиной. Забранилась тетка, а Прасковья ей возьми да и скажи, что они теперь вроде как сговорены. Тетка их сдержано поздравила и выговор сделала за нескромность, но после оттаяла. А как была посвящена во все обстоятельства, так и вовсе похвалила молодого графа за рвение, нельзя было не похвалить.

Вырвавшись в тот день от своей нареченной, Алексей Васильевич совершенно отчетливо сообразил, что собственной рукой затянул на своей шее крепчайший узел. Оставалась одна надежда – проявить себя ему в настоящее время негде, так как войны пока никакой не было, да вроде бы и не предвиделось. А уж если и будет таковая, то тут еще не известно, кто скорее

его возьмет в мужа – Параська Вертуновская или пуля шальная, оно, если рассмотреть, так одно другого стоит.

Словом он не грустил и был по-прежнему мил и обходителен, а поскольку пелена с его глаз спала, то и зрение его словно бы улучшилось. Разглядел он, что множество других хорошеньких барышень при дворе есть и тут уж было начал даже некоторые авансы получать в виде мимолетных взглядов и поигрываний веером, как вдруг увидел новым обострившимся зрением, что сама государыня на него взирает. Взирает и перстом манит. Было сие посередь куртага, где вся знать собралась. И теперь все взоры, не только ее величества, обратились к нему, да так пронзили, что он их всей своей кожей ощутил.

Оробел сначала. Но пошел. Ноги, однако ж, были точно ходули вставные. Чего бы это – так и крутилось в голове, – неужто Параськина тетка порадела, и государыня теперь прикажет ему жениться на Прасковье, не трудя себя подвигами. Известное дело, все царицы любят устраивать жизнь своих ближних девок, на то они царицы. Приблизившись, уж и слова-то все позабыл. В руку, величественно протянутую носом неловко клюнул. Вышло глупо и еще так, словно не оценил он чести такой. Взор горящий поднял и, увидав прекрасные голубые глаза, ни дать ни взять тумпазы редкостные, как-то сразу воспрял, выправился и молодцевато приосанился. Она в ответ бровью повела и улыбнулась.

– Что, Алексей Васильевич, каков тебе Петров город показался, – спросила царица ласково.

– Прекрасней ничего не видел, – молвил он, не отрываясь от ее ясных очей, кои сразу почел восхитительными из восхитительных.

Она, казалось, и не замечала его смущения и неучтивого поведения. Напротив. Протянула руку, но теперь уж не для поцелуя, а единственно, милость оказывая желанием опереться. Он же, поняв сие намерение, но, не вполне еще осознав свое счастье и отличие, совершенно дышать перестал, что произошло от полнейшего благоговения перед монаршей особой и перед той необыкновенной грацией и женственностью, с какой Екатерина Алексеевна, будучи уже в неюных летах, сошла со своих вершин к нему и оперлась на него доверчиво.

Вельможи, в тот вечер при дворе бывшие, все разом обернулись, оторвавшись от разговоров. Дамы смотрели теперь на него заискивающе, а юнцы иные и с открытой завистью. Сановники изучали физиогномию молодого Погожева, вперившись в нее взорами, словно туча змей. Все уж поняли, одному ему не было ясно, государыня свой выбор сделала.

Дальше все покатилося быстро, словно картинки менялись в калейдоскопе. Он еще не успел опомниться от высочайшего внимания, как увидел возле себя фрейлину Шаргородскую – доверенное лицо императрицы. Она приказала ему следовать за ней, и он повиновался. Вдвоем они миновали целую анфиладу пышных комнат. Потом еще несколько комнат, убранство которых, это было хорошо видно даже его нетренированному взору, еще не было завершено – в иных стояли лесенки и громоздились глыбы мрамора, а по полу были разбросаны куски серпентинита, оникса, яшмы, белого агата, малахита и других камней. Он от отца знал, что Екатерининский, как впрочем, и Зимний еще не совсем отделан и государыня постоянно шлет на Урал обозы за красивым узорчатым камнем. Поэтому и не удивлялся и даже сделал вывод, что ведут его окольным непрямым путем. Догадка его быстро подтвердилась, потому что перед глазами вновь замелькали изящные меблированные гостиные. В одной из них – в голубой – Катя Шаргородская остановилась и велела ему обождать, а сама скрылась за высокой инкрустированной дверью.

Сердце его забилося, ноги подкосились, потому что он вот только сейчас и начал понимать, что произошло в его судьбе. Он, Алексей Васильевич Погожев – сын опального Графа Погожева попал в случай. Да мог ли он такое даже предположить!

Опустившись на новенький шелковый диванчик с позолоченными подлокотниками, он невольно обхватил голову руками. Ему казалось, что она вот-вот се треснет. Треснет оттого,

что не выдержит такого... Такого... А, собственно, чего? Счастья? Везения? Напора страсти? Ого-го! Вот страсти-то он пока не чувствовал. Не попасть бы впросак. Раззадорить себя как-то бы. Вспомнить что ли Параську? Нет, о Параське думать не хотелось.

Как-то сама собой пришла на ум княжна Полетаева. До чего хороша девица. Персиковая кожа щек, атласные покатые плечи, а то, что ниже, пожалуй, еще куда завлекательнее, чем у Прасковьи. А глаза! Карие, а белки вокруг зрачков голубые. Какой-то камень напоминают, Яков Иванович Данненберг ему такой показывал, когда по просьбе отца, занимался с ним минералогией, да разве их все упомнишь, камни эти. Вот если бы он видел тогда глаза Вареньки Полетаевой, то уж сразу непременно бы выучил и камень, а теперь... Теперь воображение делало княжну все более осязаемой. Его мысленному взору представился Варенькин нос. Носик был прямой, но не большой, а как будто чуть вздернутый, словно не лишенный любопытства, но совсем чуть, ровно столько, чтобы открыть взору чувствительные ноздри, трепещущие от каждого слишком смелого слова ухажеров, что прилипали к ней, как только она показывалась на людях. Дальше были губы – пухлые волнующие, и щечки с ямочками и все это приводило Алексея Васильевича в полный восторг и томление... И вовремя.

Дверь распахнулась, и на пороге показалась Шаргородская. Она приветливо кивнула Алексею Васильевичу, и он понял, что надо подойти. Стремительно встал и приблизился. Шаргородская легонько подтолкнула его в комнату, а потом прикрыла за ним дверь.

В комнате царил полумрак, но контуры предметов было отчетливо видно. Свет многих свечей бил откуда-то с противоположной стороны. По стенам стояло множество разноразмерных различного назначения шкафов и шкафчиков, этажерок, и все они были заставлены и завалены книгами. На конторках белели стопки бумаги и стояли чернильницы. На круглом столике, покрытом бархатной скатертью, возвышался кофейник и красивая стеклянная банка, в которой угадывались зерна кофия. Здесь же была и фарфоровая меленка с деревянной ручкой.

– Это для того чтобы никого по утрам не будить, – пояснил ему мелодичный женский голос с легким акцентом. Странно, но акцент этот сейчас куда более ощущался, чем в большой зале среди множества народу. Может быть, потому что наедине с ним Екатерина не считала нужным говорить медленно и величественно, а произносила слова так, как произносила их в обычной жизни в беседах со своими близкими.

Но все-таки, услышав этот голос, он невольно поклонился и чуть было не закричал: «Матушка, как благодарить...», но вовремя опомнился. Подумал, что слово «матушка» теперь, наверное, не подойдет, и решил называть Екатерину государыней, а там уж как Бог судит.

– Да что ты там мешкаешь, Алексей Васильич, – без всякого раздражения сказала государыня, – подойди.

Все же она была милостива к нему. Робости у Погожева поубавилось. Приблизился. Государыня сидела в креслах – на ней было простое домашнее платье с крупными пуговицами и чепец. На коленях лежала толстая книга. Ослепленный нахлынувшими на него чувствами Алексей Васильевич поначалу плохо разглядел императрицу. Туман очи застилал. Теперь же лицезрел и диву давался – так она была свежа и приятна взору. Яркий свет от свечей вовсе не старил ее. Белый кружевной чепец, наброшенный на все еще пышные каштановые волосы, придавал особую нежность ее лицу, под легким голубым шелком свободного платья угадывались очертания крепкого тела. Право слово, такие женщины не стареют, подумал он, да если и стареют, все одно не утрачивают того притягательного, что манит к ним нашего брата точно железо к магниту, показывал ему Данненберг таковой фокус.

– Что ж ты стоишь, Алексей Васильевич, садись, – она указала ему на соседнее кресло. Поговорим.

Он сел, не сводя с нее взора.

Она улыбнулась тепло.

– Думаешь, наверное, что за толстая такая книга у меня. Это я труды господина Монтескье читаю. Знаешь ли ты такого философа?

– Н-не имею чести.

– Прискорбно.

– Да я в философиях, государыня, не силен, но, коли ваше величество повелит, так готов изучить.

– Похвально. Да видишь ли, Алексей Васильевич, трудно философию изучать по повелению царскому, тут нужен особый философический склад в человеке, а коли его нет, так и наука не впрок. Хотя наука это полезная. А ты, граф, я давеча слышала, театром занимаешься.

– Истинно, государыня, – осмелел Погожев, ощутив под собой твердую почву, – как дяденька мой представился, так имение его ко мне перешло, а с ним и крепостной театр, так я сейчас его в Петербург перевез и уж в доме своем расположил. Теперь же к премьере готовимся.

– Вот как! Какой же спектакль ставишь? – Заинтересовано спросила императрица.

Граф смутился.

– Да пьесу вашу, государыня, «Горебогатырь Косометович». Композитор Мартин Солер. Екатерина засомневалась.

– Али правду говоришь? Отчего же эту пьесу?

Алексей вмиг вскочил с кресла и встал перед государыней на одно колено.

– Из уважения и любви к моей государыне, к моей царице.

Монаршая бровь поползла вверх. Екатерина отложила книгу и поднялась. Протянула к нему руку. Он жадно впился в нее губами.

– Любви, говоришь, Алексей Васильевич, ну так мы сейчас твою любовь испытаем.

Когда утром он проснулся, с ним рядом оказался только непоседливый солнечный зайчик. Он семенил по подушке государыни и так и норовил скакать все по кругу и по кругу. Приподнявшись, Алексей Васильич понял, что это ветка березы, которая растет под окном, играет с солнечным лучом. Шторы на окнах были уже раздвинуты, а на небе сияло столь мощное и редкое для северных широт светило, что лишь удивления достойно. Однако удивления достойно было и многое еще.

На часах, что стояли на каминной полке, едва было четверть седьмого, а уже вовсю пахло кофеом, и мягкий, но повелительный и уверенный голос государыни звучал в той комнате, где она приняла его вчера. Голос этот перемежался иногда с каким-то мужским. Погожеву подумалось, что это вполне может быть Григорий Александрович. А если он, что тогда? Как повести себя коли войдет? Да войдет ли? А может это и не Потемкин вовсе, а кто другой. Истопник, например или министр с докладом. Да только неужели так рано поднялась царица для дел государственных. Право слово, это после такой ночки было, по меньшей мере, странно.

Уж как жарко пылала ее страсть, что и вспомнить, так сам загораясь. Да и он ей особенно роздыху не давал, доказывал свою любовь вовсю! Неужто двужильная у нас государыня, подумалось. Однако, то ли от кофейного духу, то ли от неловкости ситуации – не дома же и не у Параськи, – спать ему тоже совсем расхотелось. Он встал и потянулся за платьем, которое уж приметил. И только успел камзол надеть, как тут и она вошла.

– Ты, Алексей Васильич, видно тоже ранняя пташка, – спросила любезно, но вместе величественно, – я смотрю, поднялся ни свет, ни заря.

– Да ведь и ты, государыня, – молвил он, подходя и становясь снова на одно колено, ища царской ручки.

Но ручку она не дала. Вместо этого взяла его за подбородок и легонько потянула к себе, отчего взгляд Погожева снизу вверх на нее устремился, как и положено подданному. Она же

вперилась взором в его лицо. И вдруг показалось ему, что она не просто его личность изучает, а ищет в глазах что-то. И тумпазные очи ее как-будто даже сразу перестали быть очами великой государыни, а были теперь глазами обычной женщины, у коей и страхи свои, и беды, и напасти даже. Такая нежность им овладела, что вырвал он подбородок свой из государыниной десницы, взял десницу ту обеими руками и осыпал поцелуями. Тут она видно поняла, что показала свою слабость, и тотчас же рассмеялась, немного деланно, но все же весело.

– Полно тебе граф, полно, отпусти, – сказала капризно, хоть и видно было, что порыв его ей по нраву пришелся, – ну будет тебе.

Но он все не отпускал, и тогда она уже суше предложила:

– Ты лучше Алексей Васильич со мной кофий испей, нынче не сама варила, а Катя.

Это Шаргородская, подумал и пошел за ней, как привязанный.

За кофе они болтали о всяком. И о том, что Катя давно уж взялась за нее и бранит, что кофий Екатерина Алексеевна варит слишком крепкий вопреки запретам докторов. И о том, что философ Вольтер прислал вот новое послание, а она, прежде чем ему ответить, желает хорошенько почитать Монтескье, уж так им увлеклась, и много своих мыслей имеет, и хочет их с Вольтером тем обсудить. И еще о театре, о собаках, лошадях, обо всем – и ни слова о прошедшей ночи.

– Ты теперь иди, Алексей Васильич, – сказала она по прошествии получаса, – мне надо поработать. После мы с тобой завтракать будем. Ты уж себе, я чай, занятие найдешь.

– Нельзя ли мне лошадь, государыня, – робко спросил он, желая раз уж такой выпал случай насладиться и надышаться этим ясным солнечным утром.

Она только плечиком пожала и махнула неопределенно. Погожев сообразил, что маху дал, к государыне ли такой вопрос! Пошел к дверям, оттуда обернулся для поклона и увидел, что она уже что-то пишет и его существования вовсе не замечает. Дверь прикрыл тихонечко, чтобы не помешать.

Коня ему удалось заполучить не без помощи тут же нарисовавшегося прямо у двери старого лакея государыни Шкурина. Пришпорив норовистого скакуна, Алексей Васильевич помчался галопом через сад, миновал ограду и вылетел в поля. Холодный утренний воздух ударил в его разгоряченную грудь, окатил влажной волной неразумную голову, где мысли никак не хотели прийти в порядок и все крутились и вертелись, перебивая одна другую. То ему казалось, что сам Потемкин вызовет его на дуэль, то думалось, что теперь Екатерина Алексеевна будет вот так же каждое утро приглашать его обсудить какие-нибудь философические вопросы, а может быть поручит и императорский театр.

Право, к театру у него более всего душа лежала, более даже чем к дуэлям, и уж куда более чем к философии. А ведь государыня говаривала, что наука философия полезная. Да ведь скучно. Да и жизненные вопросы не оставляют в голове места. Вот, например, как ему теперь вести себя с окружающими-то? Как быть с сановниками, с фрейлинами и прочими придворными, которые наверняка все теперь уж проведали и будут взирать на него вопросительно, а то и с подлейшим заискиванием. Кто его знает, может и просить еще о чем начнут, а он и понятия не имеет, как ответить даже. Ох, нелегкое положение! Одно хорошо, Парасья теперь, наверняка уж, отвяжется и думать забудет ждать, когда он, граф Погожев ради нее доблесть проявит. Нет, теперь вся его доблесть только государыне достанется, иначе нельзя.

Тут он вспомнил, что завтракать должен с государыней и повернул коня обратно и вот когда понял, что заехал далеко. Намного дальше, чем мог предположить. Чтобы вовремя быть при особе, следовало поспешить, и он стрелой летел к своему только что обретенному счастью, до конца даже и, не понимая, что это – счастье или тяжкий крест. Но все же летел и в ограду Екатерининского парка проскочил, когда еще большой суеты ни в парке, ни во дворе не видно

было. Неприученный вставать спозаранок, он не особенно чувствовал ток утреннего времени и сказать теперь вряд ли бы смог, сколько его прошло с тех пор, как увидел он стрелки на четверти седьмого. Однако ж успев изучить придворную жизнь, понимал, что коли народ не кишит на крылечке, то еще не тот час, чтобы спешить и с галопа перешел на шаг.

Не желая показываться на глаза лишнему человеку, Погожев свернул в аллею и спешился. Теперь он медленно брел по дорожке, изобретая в голове любезные и умные фразы, которые могли бы потрафить премудрой державной даме, ведь ему вовсе не хотелось выглядеть полным неучем, не способным к философическим упражнениям.

Однако размышления его были прерваны. Конь вдруг отпрянул назад и всхрапнул. Алексей приструнил его, да тут и услышал жалобное повизгивание, идущее даже и не понятно откуда. Прислушавшись, определил, что сверху и тут поглядев на старую кряжистую липу, завидел, что среди кроны что-то белеется. И это существо на птицу вроде не похоже, а похоже-то и вовсе на собаку. И собачонка эта скулит и плачет, а вниз спуститься не решается. И как забралась?!

Привязав коня к разлапистой ветке, Алексей вскочил сначала в седло, а потом уж встал на ноги и, подтянувшись о дальнюю ветку, протянул собачонке руку. Та дрожала, но к человеку пошла. Под ним что-то хрустнуло, и Алексею пришлось проявить большую ловкость чтобы не свалиться самому и не сбросить на землю и без того несчастное существо. Большими усилиями, но и не без помощи самой левретки, а это именно была левретка, он уложил собаку себе на плечи и тут уж начал спускаться. Ему почему-то вспомнился недавний разговор с государыней о собаках – она видно их страсть как любила. Подумалось, не принести ли красавицу сию ей в подарок. Подумано – сделано.

Так он и вошел к императрице в покои – с дрожащей собачонкой на руках. Часы били половину девятого по утра. Шкурина у двери личных императрицы комнат не было и наблюдался некий всполох. Женские возбужденные голоса и ее – расстроенный – доносились из спальни.

Он туда войти не решился, робость обуяла. Подумал, не уйти ли совсем, может его здесь уже не ждут. Да тут левретка, егоза эдакая, отогревшись в его руках, твякать изволила. Голоса в спальне сначала затихли, а потом охи и ахи посыпались точно горох на мостовую из проезжей телеги. После же вместе с теми охами и ахами показалось из спальни целое женское полчище и тут же начало марш-бросок в его сторону. Они все разом говорили и он ничего разобрать не мог, а отчетливо слышал только ЕЕ голос, доносившийся из спальни, но она говорила по-немецки, а этот язык он знал плохо и потому понял лишь, что Екатерина Алексеевна подгоняет кого-то.

Но вот, наконец, она и сама показалась. В простом светлом утреннем платье с бриллиантовой заколкой в пышно взбитых волосах. Дамское полчище колыхнулось и раздвинулось, пропуская свою повелительницу. Левретка, лежавшая дотопе на руках сравнительно спокойно, тут приподнялась и даже попыталась встать на лапы.

Повелительница подошла и словно не замечая Алексея, обратилась прямо к ней.

– Ай-ай-ай, Леди Дюшеса, ты ведешь себя нехорошо. Мы все волновались за тебя.

С этими словами она погладила Леди Дюшесу и тогда уж обратилась к нему.

– Где же ты нашел ее, граф Алексей Васильевич.

– Да с дерева снял.

– Что ж, эта глупышка имеет некую страсть к птичьим гнездам. – Пояснила императрица с улыбкой, а бывшие в комнате дамы почли за должное похихикать над ее шуткой. Она же не отводила взора от левретки и все поглаживала ее, а та в ответ лизала руку хозяйки.

– Ну что ж, – сказала Екатерина натешившись, – поставь ее граф. Марья Саввишна, отправь кого-нибудь сказать Шкуруину, что все уж уладилось. Да вели покормить озорницу.

Алексей из всего понял лишь, что спас он царскую собачку, и подарка не получилось, а жаль. Да надо это хорошо усвоить и вдругорядь, если представится случай, принести государыне какого-нибудь породистого щеночка для утешения. При мысли сей он довольно улыбнулся, но тут вдруг поймал на себе недобрый взгляд той самой Марьи Саввишны, которая с поручением послала кого-то другого, а сама сверлила и буравила его своими подслеповатыми глазами. Взгляд этот Погожеву не понравился. Должно Марья Саввишна раздумывала как к нему отнестись, к новоявленному. Остальные дамы, окружившие императрицу, чтобы докончить ее утренний туалет, тоже искоса на него поглядывали, но все же неприязни такой в них не чувствовалось, скорее уж интерес.

– А ты, матушка, – обратилась тут Марья Саввишна к государыне, – молодца-то как никак одари за Дюшеску. Вон она как нас всполошила, шалая. Не он бы так и горевать нам по ней по сей час.

– Какая ты разумница, Марья Саввишна, – весело сказала императрица, выбирая жемчуга, разложенные на бархатной подушке, поданной фрейлиной Нарышкиной, – вот и правда.

Указав перстом на нитку бледно-розового жемчуга, она оторвала взор от украшений и кокетливо взглянула на Алексея Васильича, отчего вид Марьи Саввишны стал совсем унылым.

– Да не нужно мне ничего, – затряс головой Погожев, – неужто я для своей государыни такую малость не сделаю за одно... за одно только ласковое слово.

Императрица звонко рассмеялась, но повела взглядом по сторонам, дала ему понять, что надо, дескать, быть поскрытнее, не стоит так откровенничать.

– Да вот и не так, – упрямо тянула Марья Саввишна, – знаем мы зарок-то твой, граф Алексей Васильевич.

Это какой еще зарок, – хотелось ему воскликнуть, – да тут он сразу все и припомнил. Параська! Тетка ее Мавра Гречишкина – подруга Перекусихиной. Ох, что будет! Погожев остолбенел от нежданно нахлынувших на него чувств – да и кто бы не остолбенел – из огня да в полынью.

Дальше все разыгралось, как клавир по нотам. Марья Саввишна преподобнейшим образом рассказала государыне про сговор графа с Прасковьей Вертуновской и про его, Погожева, обещание жениться только после того как сослужит службу ее царскому величеству. Государыня нахмурилась и на него даже не смотрела.

– Да ведь я, – робко вставил Алексей, – и подвига то не совершил никакого, собачку снял, так чего тут...

Но его словно не слышали. Государыня велела позвать Прасковью и тетку ее. И те не замедлили явиться. Параська была разряжена в пух и прах и очи держала долу, как и положено молодой невесте. Тетка ее тут же весь сказ Марьи Саввишны подтвердила. Довольная Прасковья кивала и румянилась. Граф чувствовал себя щепкой, тонущей в бурном море. Однако надежду еще имел, потом наедине рассказать государыне как все вышло. Выслушает, рассмеется своим серебристым смехом, да и забота долой.

Но вышло все иначе. Императрица милостиво освободила его от залога, повелела назначить свадьбу на будущей неделе и сказала, что в приданое Прасковье даст из казны деревеньку. Затем она всех отпустила и распорядилась чтобы Катя Шаргородская приглашала просителей. С тем и направилась в малую аудиенц-залу.

Погожев хотел пасть на колени и упросить дать ему первому аудиенцию, да государыня мягко его отстранила и не велела занимать у нее времени, так как его дело теперь уж решено.

Потом была свадьба, отсылка от двора, деревня. Первую брачную ночь провел он со Степанидой Лапиной, которая давно уж его глазу была приятна, да прежде он ее берег, думал прима есть прима, это особенное дело и товар дорогой. Дядя ей, Степаниде, учителей из самой

Италии вызывал, оттого что голос у нее редкостный по силе и тембру – таких и в императорском театре не сыщешь. Степанида не капризничала и барину отдалась с превеликим удовольствием, правду сказать, она уж давно глядя на него млела, да показать боялась, чтоб не прогневался. Ему же было хоть в петлю, только не в супружескую постель.

Наутро после свадьбы графиня Погожева сидела за завтраком смурная, с глазами припухшими от слез, да ему вовсе не было ее жаль. Сама виновата, почто привязала к себе, точно морским канатом, а то не знала, что насильно мила не будешь. Она ничего не ела, а он только злился из-за этого, потому что был уверен, что это она нарочно так – чтобы взрастить в нем чувство вины и тем самым вернуть обратно. Но он уж твердо знал, что обратного ходу нет. Оттого молодожены тут же и разъехались. Он с театром в свою деревеньку, а она в свою.

Из деревни он собирался писать письма государыне, да как не пробовал, все как-то глупо получалось. О чем писать? Как окрутили его, сердешного, как пошел он за Прасковьей, словно бычок на веревочке, как глубоко государыня ошиблась, устроив их брак? Такое на высочайшее имя не пишут, а писать императрице как частное лицо – он таких прав и займет-то не успел. Плюнул и занялся тем, что было всего ему милее – театром, ну и заодно Степанидой.

Молодой граф был натурой энергичной и за несколько месяцев смог так вышколить свою труппу, что соседи, съезжавшиеся к нему на представления, поверить не могли, что это точно крепостные обычные, а не какие-нибудь итальянские актеры спектакли представляют. Помимо прочего, дело конечно сделали неплохие капиталы, его предками нажитые. Они дали возможность Погожеву вызывать актерам хороших учителей танцев и пения. Театральных костюмеров и плотников он еще в Питере нанял преотменных, а уж в деревне потребовал, чтобы они и его крепостных подучили всяческим художествам.

Занятию своему он предавался с жаром и ничего для театра не жалел. Сил ему было не занимать, времени тоже, оттого и шло все как по маслу. Подводили лишь плохие дороги, да студеная зима, нагрывшаяся как-то вдруг. И именно тогда, когда ждал он выписанного из Петербурга балетмейстера месье Робера Паскаля, который хоть и не слыл большой знаменитостью, но зато уж точно был балетмейстером, а не шорником, булочником или еще кем другим, выдающим себя за оного. Гарантии на то у него были от одного очень солидного лица.

В тот студеный ноябрь Алексей Васильич ежедневно гонял своих людей на проселочную дорогу высматривать, не едут ли, пока, наконец, не прослышал от вестового, что вот, мол, и колокольчик, а значит, пожаловал-таки гость дорогой. Тут уж и граф кинулся навстречу долгожданному мастеру. Однако судьба преподнесла ему сюрприз несколько иного рода. Из кареты выглянул насмерть замерзший, но очень бравый человек и, яростно жестикулируя, закричал на Алексея Васильевича, который от неожиданности даже не сразу нашелся что ответить.

Потом уже сидя в гостиной, где жарко топилась изразцовая печь и, потягивая из рюмочек тонкого богемского стекла, наливку, изготовленную старой нянькой Аксиньей Спиридоновной по секретному столетнему рецепту, они долго смеялись над теми первыми минутами их знакомства. А знакомство было необычное, потому что путник тот был не кто иной, как возвращавшийся из Москвы в Петербург и сбившийся с дороги граф де Сегюр, французский посол при императорском дворе.

Граф оказался наименее приятным собеседником, да еще героем. И года не прошло, как вернулся он из неведомой далекой Америки, где повидал такое, что рассказов ему хватило на всю ночь, да и на дальнейшие дни еще осталось. Морозы тем ноябрем нагрянули, когда еще земля и снегом-то не успела покрыться, так Алексей Васильич принялся уговаривать графа пожить немного в его имении, пока не спадут пронизывающие сухие холода и не установится санный путь. Куда как невесело ехать по раскисшей под дождями и разом замерзшей дороге.

Граф впрочем, дал себя уговорить довольно быстро, хотя, может и не последнюю роль в этом сыграло появление в гостиной прекрасной Степаниды, потихоньку утвердившейся в доме в роли хозяйки.

Веки Степаниды тревожно вздрогнули, когда граф Сегюр встал при ее появлении и назвал ее госпожой Погожевой. Однако Алексей Васильевич поспешил развеять его заблуждения, сказав, что она все же не жена, а прима его театра, но тут же добавил, что для него с неких пор второе куда более свято, чем первое.

Граф Сегюр при сих словах постарался сохранить невозмутимость, но вот театром заинтересовался, и тотчас к его удовольствию было организовано представление «Мельника», которым он безмерно восторгался, но более всех конечно Степанидой, которой прочил большое будущее на подмостках.

Так прошло несколько дней. С утра и до сумерек Сегюр рассказывал о диковинках Мексики и Перу, вечерами играли спектакли и каждый раз иной, а ночами прекрасная Степанида делила постель то с одним воздыхателем, то с другим. Через неделю примерно выпал снежок и потеплело. Граф Сегюр распрощался с Алексей Васильичем, и вот тут Погожев и загрустил о развеселой столичной жизни и, что скрывать, об умных и тонких собеседниках, коих в деревне взять неоткуда. Так загрустил, что забыл ждать нового балетмейстера, а он как раз по свежему санному пути и нагрянул.

Месье Паскаль оказался довольным жизнью цветущим господином лет сорока. Алексей Васильичу он показался несколько более плечистым, чем следовало бы быть служителю Терпсихоры. На минуту он даже усомнился в его рекомендациях, но как только француз взялся за дело, сомнения Погожева быстро улетучились. Месье Паскаль живо поставил всю балетную труппу к станкам и потребовал сделать упражнения, после чего каждому артисту дал его цену, с которой Погожев внутренне согласился.

Более всех месье Паскаль отличил еще совсем молоденькую балерину Маланью Неволину – дочку театральной швеи. С ней он долго возился и в конце концов сказал, что эта девочка клад и из нее выйдет большая артистка, чем порадовал сердце графа, который считал балет слабой частью своего театра. Высокая оценка француза заставила графа очень внимательно присмотреться к Малаше, и он сделал вывод, что она оч-чень даже мила, а уж ножки...

Теперь с новой силой закипела работа. Готовились к Рождеству, и спектакль ставили на библейский сюжет. Сам граф написал нехитрую пьесу, а капельмейстер Фридрих Штальбаум, нанятый в Питере, подобрал к нему музыку. Выходило превосходно. Репетиции, подбор декораций и костюмов отбирали у Погожева все время целиком, так, что граф забывал порой поесть, спал часа по три, иногда не раздеваясь. Что уж говорить о деловых бумагах, касавшихся управления имением и прочей писанине вроде писем, отчетов управляющего и губернских газет, что грудилась у него на столе. Все это он оставил до после премьеры.

И вот она грянула. Успех превзошел все ожидания. Овации энских помещиков не смолкали так долго, что актеры уж устали кланяться. Больше всего внимания перепало, конечно же Степаниде Лапиной, имевшей сценическую фамилию Алмазова, что представляла саму Пресвятую Деву Марию. Но в этот день свою славу она неожиданно поделила с молодой припой-балериной Невוליной, которой было дано прозвание Хризолитова – она играла Ангела. Роль свою балерина и правда исполнила безупречно и заслужила не только аплодисменты, но и поцелуй барина прямо за кулисами и аж на глазах у самой Степаниды. Балерина скромно потупилась и убежала. Граф, посмотрев ей вслед, поцеловал кончики пальцев. Степанида набычилась. Запахло грозой.

Однако увенчанный славой первейшего мецената округа Погожев ничего не видел, и видеть не хотел. Он кружился на балах, коих на Рождество давалось множество, ухаживал за барышнями, казалось, совсем позабыв о своем женатом положении, устраивал каждую неделю новый спектакль – словом, наслаждался жизнью, даже и не подпуская к себе никакие тревожные мысли.

Тревога забила к нему в висок, когда он, по окончании Святков, уселся за свой рабочий стол и узрел все множество непрочитанной корреспонденции. Сначала его обуяла тоска. Потом

он, пошевелив руками груды бумаг, решил подойти к делу методически и отобрать важное и нужное от второстепенного, а там уж кое-что посмотреть, а кое-что может так и оставить без внимания. Как, например, письма постылой Прасковьи, которых собралась уж целая стопа, и последние, между прочим, писаны из Петербурга, вот она, ее лживая покорность монаршей воле.

С легким сердцем он принялся сортировать почту и тут глазам своим не поверил – перед ним на столе лежал конверт с печатью личной ее величества канцелярии. Он тупо смотрел на конверт. Письмо было датировано вторым декабря. Стало быть, дошло оно не позже середины месяца, а уж если фельдъегерской почтой, то и пожалуй числа десятого. Более месяца назад! Дрожащими руками граф разорвал конверт и уставился на четкий ясный почерк. Перед взором все плыло, глаза пробежали по буквам и словам, не улавливая никакого смысла, и только подпись в конце заставила его, наконец, собраться и начать соображать.

Письмо, написанное личным секретарем государыни Безбородко, было довольно лаконичным и в сущности никаких особенных сведений не содержало кроме изъявления монаршей воли на Святки, и лучше всего в самый Новый Год видеть представление театра графа Погожева. В Петербурге, разумеется, а не в сельце Погожем, где провел граф все то время, которое полагалось ему провести возле его государыни.

Какими словами описать чувства Алексея Васильевича, который ясно осознал, что профукал единственный шанс исправить положение! Нет, и не может быть таких слов. Сначала у него земля ушла из-под ног. Потом он судорожно начал собираться – звать слуг, бросать в дорожные сундуки что попало, но вдруг остановился посередине комнаты. Мысль о том, что теперь у него уж нет ни малейшей возможности быть принятым и объясниться обожгла его мозг. Он словно в полудреме доковылял до кресла и, обхватив голову руками, предался полнейшему и совершеннейшему отчаянию.

Из ступора его вывел поморский косторез Федот Проскурин, что жил у Погожевых еще при батюшке Алексея Васильевича. Василий Федорович одному ему доверял надзор за своей коллекцией камней, с которой носился как с малым дитем.

Помор мялся у дверей, в который уж раз повторял «барин» да «барин», когда Погожев наконец поднял голову и узрел его.

– Тебе чего? – Спросил он, сильно удивленный тем, что у людей его еще возникают какие-то вопросы, а то может и жалобы, это после такого-то!

– Да я чего хотел спросить-то. Дворовые говорят, ваше сиятельство в Питер собираетесь, так я уж узнать, будете ли брать коробки-то батюшки вашего, али нет. Мне ведь каждый камень завернуть требуется, иначе нельзя, они камни-то...

– Да ты что! – Возопил вдруг Погожев, потрясенный тем, что перед такой бедой помор несколько не склонился, но остановил себя, сообразив, что уж кому-кому, а этому косторезу вряд ли что о масштабах его бедствия известно. – Поди себе, – сказал уже спокойнее и откинулся на спинку кресла.

Однако что-то его сдвинуло с мертвой точки. Может быть, как раз это спокойствие Федота Проскурина. Есть ли от чего так с ума спрыгивать? Не явился по первому зову – плохо, а кто знает, когда письмо пришло. Коли бы государыня очень хотела его видеть, то прислала бы своего человека, а тут всего лишь письмо. Письмо могло в дороге затеряться. А что в Питер не едет граф Погожев, так и на это причина есть – не хочет он ехать в дом, где поселилась нелюбезная ему жена. И писем ее читать не хочет. Однако государыню зреть он страстно желает и так как письмо все-таки нашлось, ему, вправду след ехать в Питер.

– Эй, Федот, – воскликнул тут граф, вскакивая с кресел.

– Тут я, ваше сиятельство, – в дверь просунулась бородатая физиономия.

– Собирай давай свои экспонаты. Да завтра чтоб к утру все было готово. Утром как рассветет, едем в столицу.

– Вот и понятно, барин. Теперь-то уж все ясно. А как ране никто ниче толком сказать не мог, так и не знаешь, че делать, – певуче затынул Федот.

– Погоди, – вдруг завернул его граф, – а что, в батюшкиной коллекции есть по-настоящему стоящие камни?

– О-о-о, барин! – Федот поднял на него умные ясные глаза, морщинки на веках расправились. – Да неужели нет! Один только смарагд какой – чистый, без единого пятнышка, да и размером не мал. Этот, Василий Федорыч говорил, самый дорогой, хотя имеем мы и диаманты неплохие, но смарагд дороже. Он высочайшего соизволения просил его купить и с трудом добился. Да еще есть тумпаз в розовый отлив, называемый империал, но размеру небольшого. Есть сапфиры наши, что цветом васильковые. Они не столь темные, как индийские, но игры в них не мене будет. А вот индийское чудо есть еще – так это желтый сапфир, названием падпараджа – то редкий камушок и, говорят, на судьбы влиятельный. Его батюшка ваш задорого взял, да еще в придачу отдал смарагд поменьше, что на Урале нашел.

– Сам нашел? – усомнился Погожев, – неуж с земли поднял?

– А можно и так сказать, – огладил бородку Федот, – да допреж, барин, чтобы земля чего отдала, ей многоночко поклоняться надоть. То Василий Федорович хорошо знал...

– Ну дальше? – капризно спросил граф.

Федот невозмутимо продолжил.

– Есть красный турмалин, что цветом на рубин похож, да пламени не хватает чуток, есть редкостные волосатики – это кварцы такие – иные имянутся Волосы Венеры, а другие – Стрелы Амура. Да и много еще чего... Кремень, к примеру, семицветный – редкая штукавина, но это уж не самоцветный камень, а так, забава батюшки вашего, наука минералогия. У него там и гагаты, и яшмы и ониксы – чего-чего нет, но это все для научной его страсти камушки собраны были...

– Почему же отец мне раньше ничего такого не говорил?

– Может, интересу у вас не было, – рассудительно заметил помор и сызнава огладил бороду.

Погожев внимательно посмотрел на Федота. Не старый еще, но какой-то неторопливый, основательный. И честный. Или кажется таким? Живет при таких богатствах и до сей поры не сбежал, прихватив половину, а то и все. А ведь он свободный, не в крепости. Да полно, все ли он рассказал, может утаил чего-нибудь? А сам готовится к побегу. Зачем спросил, берет ли граф с собой коллекцию?

Мысли эти тревогой отразились на лице Погожева.

Федот молчал и топтался, будто не решаясь сам продолжить разговор, а уж у него имелось, о чем поговорить. А, была – не была!

– Мы как тот-то раз были в Питере, – выговорил он наконец, – так ваше сиятельство приказали мне ходить к мастеру тамошнему, что по ювелирной части, к гоподину Функу. Так нельзя ли будет сызнава мне к нему ходить, чтобы ремеслу обучиться?

– А ты, стало быть, хочешь?

– По нраву мне дело. И не внове. Кость-то я резать могу сызмальства. И на ум мне порой диковинки разные приходят, а вот как сделать, не знаю. Мне уж он показывал, как камень-то полировать, да как гранить еще не успел, а уж иное что я и сам додумался, да надо всеже ловкости набраться.

– Экий ты, – подивился граф, – а какие же диковинки?

– А иной раз ларчики, гребенки резные с камнем, да с фигурками костяными. Да многое еще. Я в альбом заношу. Меня же, как Василий Федорович минералогии обучал, так и рисованию маленько научил.

– Смотри! Не знал. Ну ты мне свои диковинки после покажешь. А теперь собирайся. Будет тебе в Питере Функ. Дай только добраться.

Не прошло и недели, как граф Погожев был уже в столице. Актеры, декорации, машинария – все тащилось обозами и дай Бог, чтоб доехало в целости, сколь бы не ехало. Следом за ним, загоня лошадей, поспешали только Федот Проскурин с графской коллекцией, да ненаглядная Степанида, без которой ему последнее время совсем плохо спалось. Ворвавшись в фамильный особняк, точно вихрь, он слегка кивнул, выбежавшей ему навстречу Прасковье, словно не видел ее не полгода почти, а всего может час или два. Потом сменил дорожное платье на придворное и, не забыв захватить письмо, отправился к Безбородко, хотя и не очень верил в успех предприятия.

Однако звезды встали так, что статс-секретарь его принял и выслушал. Но – развел руками.

– Что ты хочешь, Алексей Васильевич, это видно рок тебя преследует. Не мне, обычному человеку с ним тягаться. Но мне все же кажется, что дело это в твоих руках. Ты приди сегодня вечером на куртаг. Я знаю, гм... некое расположение к тебе нашей государыни, так уж будь уверен, за дверь не выставят, а уж там.... Ты уж сам....

И Погожев пришел, но.... Никогда еще и нигде он не чувствовал себя столь чужим и ненужным. Изгоем. Но все эти придворные рожи, что с них взять? А вот ОНА. ОНА даже слова не сказала Погожеву и отвернулась к своему Циклопу.

Глава вторая. Ящичек Амура

При дворе играли в коробочку. Игра по меркам галантного века самая невинная, но последствия от нее всякие бывали. Состояла она вот в чем. По кругу пускали простую деревянную шкатулку – не большую, но и не слишком маленькую, такую, чтоб помещались в нее десятки мелких вещей. Каждый, кому попадала в руки такая шкатулочка, должен был положить в нее какой-нибудь незатейливый предмет, но лишь такой, который был бы узнаваем. Словом, если это была, к примеру, булавка, то с какой-нибудь особенной головкой, если платок, то с узором, если шелковый цветок, то именно тот самый, который был в прическе одним памятным вечером... Ну, и так далее. Некоторые правда клали в коробочку и предметы подороже: непарные серьги (одна из них потерялась тогда, ты помнишь...), медальоны или даже колечки. Коробочка, кочуя от кавалера к кавалеру и от дамы к даме, вбирала в себя, таким образом, множество вещей. Но любой из участников игры мог также и забрать вещьцу своего любимого или своей любимой, если ее узнал. А взяв, тем же вечером или при ближайшем повернувшемся случае, продемонстрировать ее, прицепив на свою одежду или вынув из потайного кармана, беседуя на бале или на прогулке. Так влюбленный и не слишком смелый кавалер, а также и дама, могли открыть свое чувство предмету. За то коробочку и прозвали ящичком Амура.

Вареньке, которая всего несколько месяцев назад стала фрейлиной императрицы, принес коробочку князь Комарицкий, которого почему-то маменька давно почитала ее женихом.

– Извольте, Варвара Дмитриевна, – проговорил он с поклоном и протянул ей коробочку на вытянутых руках, – Будучи рабом красоты вашей, я стал слугой этого пухлого малыша с колчаном и стрелами.

– Да о ком вы говорите? – удивилась Варенька, плохо еще посвященная во все тонкости придворной жизни и боявшаяся, что может, не ровен час, чего-нибудь такое пропустила.

– Об Амуре, – убежденно ответил Комарицкий, – это он бросается в нас вами своими стрелами, и сим воспламеняет наши чувства.

Варенька воспламенения своих чувств в присутствии Михаила Федоровича Комарицкого что-то не ощущала, однако, чтобы не обидеть его, тотчас улыбнулась, но ларец так и не взяла, подозревая в нем наличие подарка от князя, принять который означало бы принять и его ухаживания.

– Да что вы, Варвара Дмитриевна, – недоумевал князь, – поди, Амур обидится, как увидит, что вы дичитесь его почты. Вот как нашлет на вас большую страсть к самому Циклопу. А он ведь не так галантен, как иные. Хотя Думаю, это он положил в шкатулку тот перстень с бриллиантом да с монограммами.

Тут Комарицкий рассмеялся и кинул взгляд в зеркало. А Варенька наконец поняла, что это и не подарок вовсе, а всего лишь тот ящичек, о котором так часто болтают фрейлины, ожидая выхода императрицы. Ну-ну, очень интересно.

– Коли так, Михаил Федорович, то я шкатулку, конечно возьму. Но только оттого, что боюсь гнева сего маленького божка.

– Там до вашего внимания кое-что есть.

– Мне это странно, но я все же посмотрю.

– Ах, жестокая! Вам странно! Вы это нарочно меня мучите. Пойду пожалуюсь Марье Саввишне. Поди заступится за меня.

С тем он раскланялся и ушел. Варенька неторопливо открыла крышку и пальчиком пошарила среди всевозможных безделушек. Драгоценный перстень светлейшего, явно предназначенный императрице, тут же бросился ей в глаза. Все остальные «подношения Амура» были

всего лишь жалкими побрякушками в сравнении с ним, но все же ей предстояло сделать выбор. Вне всякого сомнения, ей только что подсказали, что именно нужно взять. Брошь с камеей, которой Комарицкий часто прикалывал свое жабо, лежала поверх других вещиц, и Варенька тотчас вспомнила ее. Но брать эту знакомую вещь ей не хотелось, как-то совсем не хотелось. Да и отчего это Михаил Федорович так уверен, что стрела Амура попала в нее, и она спит и видит себя рядом с ним, князем Комарицким. Вовсе нет ничего подобного, и князя следовало бы проучить. Не возьмет она его брошь! Она решительно захлопнула шкатулку. Но потом вспомнила, что по правилам сама должна положить в нее хоть что-нибудь.

Тут Варенька задумалась. Положить вещицу красивую и дорогую сердцу было жалко. Жалко опять же потому, что когда шкатулка вновь попадет к Михаилу Федоровичу, он обязательно это возьмет, ведь он как друг дома давно и хорошо знал все Варенькины серьги, броши, да и колечки. Тогда что ж? А вот что! Уж проучить, так проучить. Варенька пошла к себе и достала из кошелька гнутую полушку, лежавшую там столь давно, что она и не помнила, когда и как монетка там оказалась. Непонятно, по каким причинам Варенька ее хранила, наверное знала, что она может когда-нибудь пригодиться. Вот, видно и настал ее час.

Незлорадная Варенька с огромным удовольствием бросила полушку в ящик Амура и с тем зашагала во фрейлинскую, чтобы передать эстафету подругам. Но на тот момент здесь были только две девушки. Они вяло перешептывались, иногда открывая маленькие искусной работы коробочки и захватывая тонкими пальчиками крошечную щепотку табаку, изящным движением отправляли ее в ноздри. Ни та, ни другая не проявили особого интереса ни к появлению княжны Полетаевой, ни к ящичку Амура, что был у нее в руках.

Катерина Перекусихина – племянница Марьи Саввишны, хоть и была девицей крайне легкомысленной, весело чихнув, от шкатулки отмахнулась, сказав, что это всего лишь возможность одним поживиться за счет других и что тот, кто придумал эту игру вор и все возьмет потом себе.

Варенька не стала ее ни в чем убеждать, тем более что сама сделала самый незначительный взнос, но предложила шкатулку княжне Трубецкой. Екатерина Сергеевна вроде бы даже взяла ее, открыла и воззрилась внутрь, но потом молча вернула Вареньке, сказав, что видит достойной для себя лишь ту вещь, о коей мечтать ей не приходится. С тем она опустила глаза. Варенька видела, как хищно блеснул взгляд Перекусихиной-младшей. При дворе ходили слухи, что княжну Трубецкую дарил вниманьем сам Потемкин. Варенька тоже это знала и тотчас вспомнила про перстень с брильянтом. Не о нем ли говорила Екатерина Сергеевна?

Однако она стояла в растерянности посреди фрейлинской и раздумывала, кому предложить эту злополучную шкатулку. Но вот одна из дверей отворилась и в комнату вошла камер-фрейлина Протасова. Оглядев девушек, которые тотчас повскакивали с мест и присели в реверансе, она указала перстом на Варвару и поманила ее к себе.

Варенька подошла, робея. Черная и усатая Протасова всегда внушала ей страх, хотя ни злой, ни ехидной ее нельзя было назвать. Нраву она была пожалуй даже приятного.

– Что это у тебя, Варвара Дмитриевна?

– Вот. – Варенька бесхитростно протянула Анне Степановне шкатулку.

– А, Посланец, – отмахнулась Протасова, – одумайся, детка. Мне уж он истинно ни к чему.

С тем Анна Степановна звонко расхохоталась. Потом проговорила:

– Ну тебя, Варвара Дмитриевна! Поди, посмеяться хотела надо мной?

– Да что вы, Анна Степановна! Разве я могла... разве... – лепетала Варенька.

– Да Бог с тобой! Чего стусевалась, княжна Варвара? Будет. Я вот тебе поручение дам.

Поедешь проветришься. Коли хочешь и домой заедешь, поди давненько не видала маменьку.

– С прошлого четверга.

– Тогда ступай. Поручение будет – поехать к ювелиру Функу, что на Адмиралтейской. Знаешь ли?

Варвара кивком подтвердила.

– У государыни вот тут, – с тем она показала Вареньке брошь в виде корзиночки с цветами, – вот, видишь, камушек выскочил. Да не нашли камушек-то. Так вели ему подобрать такой-же и вставить на место. Да побыстрее пусть сделает. Государыня очень желает надеть брошь-то.

С тем Протасова убрала украшение в коробочку красного дерева, отделанную перламутром, и вручила Варваре. Та присела в реверансе.

– Ну, поди с Богом, – отпустила ее камер-юнгфера, – да, ты сначала от посланца-то избавься. Долго держать его при себе примета плохая, а в комнате у себя и вовсе не храни – иначе в девках останешься, уж помяни мое слово.

С тем Протасова, которая под сорок лет находилась все еще в незамужнем состоянии, затворила за собой дверь. И там за дверью снова послышался ее звонкий переливчатый смех.

Повеление государыни, а Варвара не сомневалась, что всякие распоряжения во дворце, в конечном счете, делаются именно государыней, следовало выполнить немедленно. Ведь было сказано «пусть сделает побыстрее». А это означало, что брошь как можно скорее нужно было ювелиру доставить. Вот Варвара со всех ног и припустила. Экипаж для всяких фрейлинских, читай «матушки императрицы», надобностей всегда был под парами. В него Варвара и прыгнула, едва надев шубку, и шестерка откормленных породистых лошадей сразу рванула с места. У ювелира были, и глазом не успела моргнуть.

Дорогой Варенька осознала, что в руках у нее сразу две шкатулки – и та, что отдана Протасовой, и та, которую передал ей Комарицкий и названная Анной Степановной «посланцем». Должно, лет двадцать назад тоже в такую игру играли, вон у камерюнгферы о ней какие воспоминания остались. Может быть, Анне Степановне нравился тогда какой-нибудь кавалер, а он вот не ответил ей на чувства, и осталась она незамужней. Интересно, всегда ли у нее были такие усы или выросли с возрастом? Если первое, то шкатулка совсем ни причем, и замуж ее не взяли как раз из-за этих усов, но вдруг все-таки из-за шкатулки. Куда же ее деть? Просто так не оставишь, вон там перстень какой драгоценный, еще возьмет кто-нибудь, кому он не предназначен, а ее, Варвару обвинят в воровстве. Нет, надо все-таки кому-нибудь шкатулку отдать.

С таковой твердой решимостью она и вошла в ювелирное заведение господина Арнольда Функа. Узнав, что она из дворца и от самой императрицы, Функ принял ее лично. Старый ювелир слушал фрейлину внимательно, не сводя глаз с броши, которую Варенька держала двумя пальчиками, и все время шурился, отчего живо напомнил ей крота. Потом он аккуратно взял брошь и рассмотрел ее под лупой. Долго что-то измерял, шептал отрывочные немецкие фразы, тонкими похожими на женские, пальцами гладил камни, осторожно стучал по ним ноготком, пробовал на зуб. Варенька смотрела на эти манипуляции с удивлением, пока новое лицо не отвлекло ее внимание.

Колокольчик у входа дзынькнул и в распахнутую дверь вошли двое. Первого она узнала сразу. Граф Погожев. Красавец и выдумщик. Неужели он снова в Санкт-Петербурге? Помнится, покинул он двор после такого происшествия, о котором шептались все и весьма долго. Варвара, как и весь Петербург подробности этого происшествия очень хорошо помнила, не так и давно все случилось. Странно было видеть теперь графа в Питере. Чему и приписать? Неужели так смел?

Граф, как глаза его привыкли к полутьме, тотчас ее увидел и, не замечая функовых подмастерьев, которые немедленно вокруг него засуетились, поклонился ей, и Вареньке показалось, что он как-будто немного смущен. Может всякие встречи были для него нежелательны, вдруг был он в Петербурге тайно. На всякий случай она миролюбиво улыбнулась, взглядом

давая понять, что выдавать его приезд не собирается, но он почему-то истолковал ее улыбку как приглашение к разговору и подошел. Варенька протянула ему руку, и он взял ее столь бережно и так горячо к ней припал, что некое подозрение мелькнуло у нее в душе. Но она очень быстро его отбросила. Возможно ли? Граф женатый человек, а то что с женой у него вышло некое несогласие, то это вовсе ничего не значит, ведь до свадьбы, говорят, был у них очень пылкий роман.

– Покупку изволите делать, Варвара Дмитриевна? – Наконец выдавил из себя Погожев, глаза которого ни на секунду не отрывались от ее лица, отчего Варенька почувствовала, как румянец заливаает ей щеки.

– Я, – начала она, все гуще краснея, оттого что более всего иного стыдилась своего смущения, никак не вязавшегося с повадками легкомысленного века, когда всякий разговор должен быть непринужденным, – я по поручению ее императорского величества государыни Екатерины Алексеевны, вот вещицу принесла к господину Функу в починку.

Граф бросил взгляд на вещицу, от которой по-прежнему не отрывался ювелир, и воссиял.

– Вот прекрасно, что я вас встретил, Варвара Дмитриевна! Пожалуй, вы будете мне бесценной помощницей!

– Коли смогу.

– Да это истинно, говорю вам. Вы только и сможете мне посоветовать.

– Отчего ж именно я?

Граф не нашелся, что ответить и сразу приступил к делу.

– Я хочу сделать подарок государыне нашей.

– Боже милостивый, Алексей Васильевич, да слыхано ли такое? Подарки делают к праздникам, но просто так, государыне...

– Да не успел я к праздникам, Варвара Дмитриевна, замешкался. Может ее величество меня простит, ведь сердце у нее доброе.

– Доброе, – поспешила заверить Варвара, – однако ж можем ли мы, простые смертные...

– Мнится мне, что можем, Варвара Дмитриевна, ведь подарок будет сделан от сердца, переполненного чувствами.

– Вольно ж вам так говорить! Всякий любит свою государыню, от которой мы видим только доброе, но преподнести подарок может лишь равный.

– А как же алмаз, подаренный государыне Орловым?

– Но ведь то, – заговорила Варенька, но тут же закусил губу, вспомнив, что говорили при дворе о том происшествии, после которого граф был отослан, – коли так, чем я могу помочь вам, Алексей Васильевич?

– Вы, Варвара Дмитриевна, с вашим вкусом и чутьем только и сможете мне посоветовать, какой это должен быть подарок.

– Однако, ведь алмаза, подобного Орлову, у вас, кажется нет, так чем же вы сможете оправдать свою дерзость?

– Алмаза точно, нет, – согласился Погожев, – зато другое имеется.

С этими словами он указал на большого бородатого мужика, что топтался в отдалении. В руках у мужика был какой-то короб, который он держал с бережением, словно малое дитя.

– Поди сюда, Федот, – позвал он мужика, – давай, покажи Варваре Дмитриевне наши сокровища.

Мужик сначала было покосился на Вареньку, и вид его не изобличал радости в душе, но толи Варенькин кроткий взгляд, толи юный возраст быстро переменили его отношение и он уж без опаски, хотя и с великой осторожностью открыл короб. Там в ячейках, точно в сотах лежали самоцветные камни, иные большие, иные совсем маленькие. В полутьме мастерской не очень-то были видны их цвета и переливы, но все же в воздухе над ними появились маленькие искорки, похожие на зависшие капельки дождя.

– Вот, – проговорил Погожев, – тут много всего. Государыне на новую забаву достанет, – тут он кивнул на брошь, что была в руках у Функа и оба они не сговариваясь посмотрели на ювелира и тут выяснилось, что тот вовсе забыл уже про государынин заказ, и во все глаза смотрит на диковинки, что лежат в коробе у бородатого мужика. Смотрит, руками разводит и губами шамкает, но из уст его ни одного немецкого слова не выходит, а только охи и ахи.

– Ну что, Арнольд Христофорыч, – кивнул ему граф, – сделаем государыне диковинку?

Арнольд Христофорыч тут же засеменил из-за конторки к графу, выкрикивая на ходу что-то совершенно восторженное и очень длинное и исключительно немецкое, словом то, что понять было никак нельзя. Варенька и не пыталась. Ей было как-то не по себе и что-то не нравилось. И еще ей подумалось, что граф очень собой хорош и хорош вовсе не той кукольной красотой, которой в избытке одарен Комарицкий, а хорош по-настоящему и очень по-мужски. Все его движения и манеры, лишённые всякой плавности и изящества ей почему-то очень нравились. Она внимательно смотрела, как он показывал Функу коллекцию камней, как повелительны и вместе не обидны были его слова, обращенные к бородачу, как слушал ювелира, восхищавшегося достоинствами иных экземпляров. И в голове ее зарождалась мысль, что она очень даже хорошо понимает досаду императрицы, которая отослала графа от себя, узнав про его отношения с Прасковьей Ивановной Вертуновской. Но эта мысль была крамольной и неположенной, и еще было в ней, в этой мысли, что-то такое, что и того более раздражило Вареньку. Она ее постаралась уgomонить, и снова искоса взглянула на Функа, хлопотавшего возле мужика с коробом – мужик-то короб из своих рук так и не выпустил.

Ради такого небывалого дела в приемное помещение принесли еще свечей, и камни теперь было хорошо видно. Функ брал в руки каждый камень, осторожно проводил по нему рукой и рассматривал на свет – и всякий раз причмокивал языком и на очень корявом русском без конца повторял, что камни действительно стоящие и коллекция подобрана превосходно.

– Ну, что я говорю! – Воскликнул Погожев и взглянул на Вареньку, а взглянув вдруг переменялся в лице и не стал отводить взора, только проговорил с невесть откуда взявшейся нежностью – Варенька....

Она стояла возле подсвечника, и от пламени свечей и теплой шубы ей стало совсем жарко, потому она скинула шубку на руки подбежавшего подмастерья, и осталась в простом светлом шелковом платье, которое было предписано ей по фрейлинскому званию. Варенька и сама знала, что хороша. Ей об этом с самого детства твердили и зеркала доказывали, что это и вправду было так, но к красоте своей она давно привыкла и не думала относиться к ней как к чему-то особенному. Но это все было до того дня и даже до того самого часа, когда она вот так неожиданно встретила у господина Функа графа Погожева. Теперь и именно теперь ей красота сделалась совершенно необходима, и она уже точно знала, что этим особенным ноткам в его голосе, прозвучавшим, когда он называл ее по имени, она обязана как раз своей красоте и свежести. Но главное, она знала еще и другое, – она была уверена, что если кто-нибудь отнимет у нее вот этот его взгляд, она будет несчастна. Ну, пусть только кто-нибудь посмеет это сделать!

Она подошла поближе к графу, так близко, что он очень хорошо мог ее рассмотреть. И он вправду смотрел, держал ее взглядом, не отпускал, словно желая навсегда запечатлеть в душе ее образ – бездонные глаза, лоб Мадонны, покатые плечи и то упругое волшебство, что еле скрывал тугий корсет. Смотрел, пока не был отвлечен Функом, тычущим пальцем в некий экземпляр.

Повернувшись к ювелиру, он не сразу и сообразил, о чем тот толкует, а тот говорил как раз о розовом империале, который совершенно необходим, чтобы восстановить драгоценный цветок в той корзиночке, что привезла Варенька из дворца. Когда Погожев все-таки понял в чем дело, то великодушно согласился на все функовы условия. Тот же пообещал графу посетить его тот час же, как только граф пожелает и принести эскизы гарнитуров, что можно сотворить из того великолепия, которым владел граф. Впрочем, гарнитур – это слишком интимно,

тут же заметил ювелир, возможно, лучше было бы остановиться на чем-нибудь более нейтральном. Какое-нибудь пресс-папье, письменный прибор или ларец для особо важных бумаг.

Но граф недовольно затряс головой. Решительно нет. Может, конечно, и не гарнитур, но уж и не пресс-папье. Что-нибудь куда более личное. И тут он снова обратился к Вареньке, а как она думает. А Вареньке отчего-то пришли на ум княжна Трубецкая и Катерина Перекусихина, которых она застала за нюханьем табака нынче, когда пыталась пристроить ящичек Амура в следующие руки.

– Может табакерку, – несмело предложила она, припомнив к тому же, как часто наткнулась на табакерки в самых различных уголках личных покоев государыни.

– Пожалуй вы правы, Варвара Дмитриевна, – согласился Погожев, знавший, что государыня воздаст должное хорошему табачку, от кого ж как не от нее эта мода пошла при дворе. Вы подсказали мне добрую мысль. Я был уверен, что наша встреча не случайна.

При этих словах Алексей Васильич посмотрел ей прямо в глаза, но теперь Варенька не смутилась. Потом уже, когда она перебирала в памяти подробности этой встречи, она даже решила что может поздравить себя с первой победой над стыдливостью, которая ей ужас как докучала с тех самых пор, как ее стали вывозить, а уж как получила она фрейлинское звание – и того больше.

Вареньке ювелир объяснил, что по причине того, что камни, составлявшие розу в драгоценной корзинке, встречаются чрезвычайно редко и это большое везение, что таковой удалось найти, спасибо господину графу, так вот по этой самой причине, он сей момент не сможет вернуть украшение государыне. Теперь, когда камень найден, он конечно же в кратчайший срок восстановит драгоценную корзиночку, но прямо сейчас это сделать совершенно невозможно, так как работа по огранке займет немалое время.

С тем Варенька и Погожев вышли из его лавки. Оба были притихшие и оба не спешили расстаться, несмотря на мороз, который к вечеру стал крепчать.

– Когда я снова увижу вас, Варвара Дмитриевна? – Вдруг решился спросить Погожев.

– Теперь я почти всякий день во Дворце. Государыня удостоила меня чести называться ее фрейлиной. Но вы не часто бываете...

– Поверьте мне, Варвара Дмитриевна, теперь все изменится.

– В таком случае вы очень скоро сможете передать следующему вот эту шкатулку, – проговорила Варенька, и вынула из муфты ящичек Амура, который уже перестала в душе называть злополучным и который несколько минут назад принял в свое нутро еще одну вещицу, – вот вам граф.

Отдав ящичек, она быстро распрощалась с Алексеем Васильичем и, отвернувшись чтобы идти к экипажу, тут же наткнулась на собственного брата князя Сергея Дмитриевича Полетаева, что помогал выйти из кареты-берлинки высокой даме в богатом меховом мантио. Дама, легко перебирая ножками, быстро сошла на землю и тут Варенька ее узнала. Это была хорошо известная при дворе Александра Васильевна Браницкая – племянница самого светлейшего князя Потемкина. Оба они – и братец, и Александра Васильевна смотрели теперь на нее и звали к себе. И в том, что они прекрасно видели, как Варвара разговаривает с опальным графом, у нее не было никаких сомнений. Возможно они даже узрели, как передала ему Варенька ящичек Амура. То-то теперь разговоров будет!

В своих предположениях она не ошиблась. На лице брата изображалось недовольство, в глазах Александры Васильевны читался интерес. Варенька дружелюбно раскланялась с обоими, но братнего гнева это не устранило.

– В своем ли ты уме, Варвара, – начал он безо всяких околичностей, – где это видано с опальным шашни заводить! Притворяешься тихоней, а сама на свиданья тайные бегаешь. Смотри, вот скажу маменьке.

– Ты, братец, зачем напраслину возводишь, да еще перед Александрой Васильевной – защищалась Варенька, – я по поручению государыни ездила к ювелиру господину Функу, а с графом там встретилась по чистой случайности.

– Да видали мы, как любезничали вы с ним. Вот еще раз увижу, что он на тебя так смотрит, так на дуэль вызову. Вы уж простите Александра Васильевна, да сами видите, что за младшей сестрицей догляд еще нужен.

– Уж очень вы суровы, Сергей Дмитрич, – улыбнулась Браницкая, обнажив белейшие зубы, – так ведь и обидеть сестрицу можно. Знаете, Варвара Дмитриевна, у меня ведь тоже брат есть, да его рано отдали в службу. Еще детьми мы разлучились. Росли мы одни сестры и все думали, хорошо бы, коли был бы братец рядом, ан, нет. Видно не всегда брат бывает защитником, иной раз тираном может сделаться.

– Пожалуй и вы строги ко мне, сударыня, – смутился Полетаев, – кто ж ее поучит, если я не поучу, батюшки-то у нас уж нет. А у ней жених уж имеется, так что не до шашней, – тут он сызнова строго поглядел на Вареньку.

– Да вовсе тут шашни не причем, – с жаром защищалась та, взглядом ища поддержки у Браницкой, – просто граф спросил у меня, какой, по-моему, подарок уместно было бы сделать ее императорскому величеству, вот и все.

– Подарок! – изумился Полетаев и многозначительно посмотрел на Александру Васильевну.

– Должно, граф знает что делает, – миролюбиво отозвалась та, чем успокоила его относительно графа, но не относительно Варвары.

– Вот, коли граф знает, то пусть и делает, что знает, а ты в это дело не ввязывайся. Поняла, Варвара! Него дома усажу под замок и никуда не пущу.

– Вы, братец, права не имеете, я теперь при государыне, – затараторила Варенька, улучив минутку, – а графу я также сказала, что делать подарки ее императорскому величеству с его стороны предерзостно и что делать подарки должны равные равным.

– Ну коли так, – смягчился Полетаев и внимательно посмотрел на Браницкую, пытаясь понять, насколько хорошо дошел до нее смысл слов, которые несомненно скоро достигнут ушей самого светлейшего и уж точно будут пересказаны государыне, – возможно, Александра Васильевна и права, я с тобой слишком строг, хотя ты девушка разумная.

Александра Васильевна величественно улыбалась, понимая, что брат и сестра именно перед ней сейчас оправдываются. Смешные право, будто ей дело есть до сей мышинной возни. Чтобы успокоить Полетаевых она сделала вид вполне доброжелательный и даже сочувственный. Варенька, узрев в ее глазах поддержку, вдруг выпалила в порыве чувств:

– А граф вовсе не плохой человек. Он очень переживает и в подарке своем хочет выразить все чувства свои к государыне.

Князь аж побелел с лица. Ну что ты будешь делать! Вот нашлась заступница! Да за кого! Не в правду ли с ума спрыгнула девка?! Чего еще она тут наговорит, не известно.

– Ты поезжай Варвара, – строго сказал он, – тебя, я чай, уж заждались, а я с тобой после потолкую.

– Не заждались. Мне Анна Степановна разрешила к маменьке съездить.

– Ну, вот и поезжай. А я тоже приеду, вот как Александру Васильевну провожу. Там мы с тобой и потолкуем.

Нельзя сказать, что братнее обещание очень порадовало Вареньку, уж больно сурово оно было высказано. Но что брат может сделать? Ну, побранит, глупенькой назовет, но уж не запрет и на хлеб-воду не посадит. Зато она сделала доброе дело, похвалила перед Александрой Васильевной графа Погожева. Александра Васильевна это обязательно дядюшке передаст и будет Погожеву куда проще устроить свои дела. Зачем ей это было, она еще и знать не знала и об

этом не задумывалась. Однако уже сама с собой наедине она решила, что граф ей нравится. Очень нравится. А вот что делать дальше, было совершенно непонятно.

Но это ей не понятно было, а вот матушка, которая встретила ее объятиями и многократными поцелуями, тотчас принялась за расспросы, когда да когда они уж с Михаилом Федоровичем объявят свадьбу. Варвара точно знала, что никогда, да как сказать об этом маменьке, не имела представления. Ведь та уж лет десять как считала, что сын подружки Мишенька Комарицкий станет мужем ее дочки. Это было для нее также непреложно как солнце днем, а луна ночью. Скажи Варвара, что вовсе не хочет идти за Комарицкого, так для Евдокии Кирилловны свет перевернется. Потому она вместо этого сказала, что вот-вот Сережа нагрянет, и Евдокия Кирилловна заохала и велела послать к повару узнать, что там обед.

А как закончила княгиня распоряжения, то присела к дочери на диванчик и обняла за плечи.

– Ну, как ты, сказывай.

Варенька положила голову к маменьке на плечо да вздохнула.

– Тяжко, – вместо нее ответила Евдокия Кирилловна, – нешто не знаю. Меня бывало тоже все тихоней звали. Перед всеми робела, кавалеров стеснялась, хотя красота моя не меньше твоей была.

– Да я вся в вас, маменька.

– Ну, вся да не вся, – загадочно сказала Евдокия Кирилловна, отстраняя дочь и беря в руки ее лицо, – а ты не завела ли там с кем адюльтеру, что это о свадьбе промолчала?

– А вы маменька, право, странная. Михаил Федорович мне и предложения-то никакого не делал, а вы уж все решили.

– Да какое уж тут предложение между своими людьми. Он уже сколько лет в дом ходит, так и без предложения все ясно, что за комедия еще предложения делать.

Евдокия Кирилловна удивленно рассматривала дочь и словно не узнавала ее. Да, впрочем, и Варенька не видела матушку таковою. Лицо княгини, уже не молодое, но гладкое и белое, лишь кое-где прорезанное морщинками теперь вдруг как-будто сморщилось. Алебастровый лоб пересекла глубокая борозда и вокруг губ залегли складки. А взгляд ее стал таким острым, что от него хотелось укрыться. Где тут признаться маменьке, что Варенька решила и поклялась себе княгиней Комарицкой не быть никогда. Ну, как бы сама она догадалась! А княгиня, как назло, свое.

– Смотри, Варвара, – наставляла она дочь, – упустим жениха, так другой может и не объявиться. Состояние-то нам батюшка твой Дмитрий Павлович, дай ему Господь царствие небесное, оставил не слишком большое. Так-то оно так, красоту твою тоже со счетов списывать нельзя, да ведь ты робка. Не сможешь, как Прасковья Вертуновская занять себе богатого мужа, так уж довольствуйся, носа не крути, нето в девках останешься.

Вот ведь уж второй раз за день пророчили Вареньке будущность вековухи. Случайно ли? Может зря она бросила в ящичек Амура сломанную монетку, и теперь отомстит ей маленький языческий божок за такое подношение. А ведь если разобраться, может оно так и будет. Потому что человек, за которого она бы пошла замуж не раздумывая, теперь уж занят. Мало того, что женат, грезит наяву об самой императрице, так что возле него ей места вовсе нет.

– Варвара, – тормошила ее мать, – ты, я смотрю, и задумываться начала, – неужто я права и вскружил кто-нибудь твою неразумную голову?

– А вы, маменька, у меня спросите, – раздался тут голос Сергея Дмитриевича от самого входу в большую залу, где Евдокия Кирилловна беседовала с дочерью, – от нее вы поди ничего не добьетесь. Я уж ее наставлял, да ничего не действует, чуть всю семью под монастырь не подвела, хорошо я удар отвел.

Евдокия Кирилловна охнула и приложила руку к губам.

– Да как же это!

– Вот я вам сейчас все расскажу, а вы маменька ее наставьте, как себя вести. Эдак она и мне в службе урон сделает. Я ведь к князю Потемкину сколь давно просился и только меня светлейший взял к себе, как тут такая компрометация.

Евдокия Кирилловна уж и вовсе расстроенная усадила сына напротив себя и приготовилась слушать его повесть. Вареньку тоже принудили.

– Это ведь ты, Варвара, своим девичьим умом думаешь, что все пустое, – убежденно начитывал братец, – а сама не понимаешь ты, что вмешалась в дело политическое.

– Ой, да как же это! – Воскликнула княгиня и стиснула кулачки, – ты может Сережа, прибавляешь, ну быть того не может! Варенька у нас тишайшая, куда ей в политики-то лезть.

– А вот увидите, маменька, – гнул свое, Сергей Дмитрич и, выложил все, что видел своими собственными глазами и слышал своими же ушами на Адмиралтейской, а потом, не дав еще Евдокии Кирилловне опомниться, тут же указал на подоплеку.

– Я говорить буду откровенно, не считаясь с Варвариним незамужним положением. Она девица не самого нежного возраста, так уж все должна понимать, а коли сама не понимает, то я ей растолкую, иначе наделает дел, так и я погорю и все мы разом. Так вот, – продолжил он, жестом повелевая дамам помалкивать, – Погожев оказался в спальне государыни нашей уж не знаю чьим промыслом, только не светлейшего. А надобно знать, что только он, и никто в целом свете не вправе подбирать ей амантов. Вот почему графа и... отодвинули. Понятно? А эта милушка, – тут перст князя Сергея Дмитрича указал на сестрицу, – за него хлопотать вздумала! Да перед кем! Перед самой Александрой Васильевной! Да где это видано! Она ведь уж через час все дяде донесет, а там прощай моя карьера, да и Варваре ничего хорошего. Ясно ли?

Вареньке было ясно. Она сидела с широко распахнутыми глазами. В голове не было ни одной зацепки, чтобы хоть как-нибудь оправдаться. Вот они, дворцовые интриги. Смысл этих слов только теперь и дошел до нее. И уж теперь вид ее был столь жалок, что даже и братец смягчился.

– Ладно, Варвара, – сказал он важно, – может я и сам маху дал. Может должен был тебя просветить своевременно, да я все думал, ты не особенно в девках удержишься, а выскочишь за своего Мишеньку, и будешь производить Комарицких, а ты что-то не спешишь.

Варенька пожалала плечами.

– Что, неужто уж разлюбила, – шутиливо спросил братец, но тут же нахмурился что-то вспомнив, – так-так-так, а что это ты нынче графу-то передала? Видел я, как ты что-то из муфты высвободила, да ему вручила. Какую-то коробочку. Я еще тогда подумал, хорошо, что Александра Васильевна отвернулась и смотрит на другую сторону улицы, нето бы сраму не оберешься.

– А это ящичек такой для безделушек, ну, ящик Амура, – смущаясь проговорила Варенька.

– Вот, маменька, а вы говорите, тихоня, – всплеснул руками Сергей Дмитрич.

– Да что ж мне было с ним делать? Мне его Комарицкий принес перед самым тем как меня послали с поручением, так уж я не знала кому этот ящик пристроить, вот и вручила графу.

– Дитя мое! – вскричала княгиня, – но что ж он теперь о тебе подумает?!

– А что, маменька?

– Но ведь он же может вообразить Бог знает что! Нет, в наше время девушки не были так смелы! Да и вообще, – княгиня развела руками, – разве в наше время молодой мужчина стал бы советоваться с барышней, что подарить своей государыне, – нет, я долго прожила при дворе, но такого я не помню.

– Чем это вы так разгневаны, дражайшая Евдокия Кирилловна, – услышали они тут хорошо знакомый всем Полетаевым тенорок.

– Мишенька! – Обрадовалась княгиня, – друг мой, как я рада! Только ты и сможешь искренне поддержать нас в наших несчастьях.

– Вечно к услугам вашим, великолепная княгиня.

– Ох, сладословец, – отмахнулась она шутливо, – слышал, что нынче твоя нареченная-то вытворила? Хоть бы уж ты побыстрее ее усадил в дому, да пусть детей воспитывает, а то одни беды от этой ее службы.

– Я весь внимание, великолепная княгиня, но должен предупредить, Варвару Дмитриевну уж Анна Степановна желает видеть с отчетом о поручении. Так меня за ней нарочно послали, чтобы ехала во дворец.

– И даже не пообедают! Вот беда! Ну что ж, поди, дитя мое неразумное, – вздохнула княгиня. – Дай все же поцелую тебя на прощанье. Да гляди, ходи по половице, иначе придется запереть тебя в деревне.

На этот раз Варенька была и рада уйти из дому, где все теперь были настроены нехорошо. И еще ей надо было обдумать все услышанное от братца, ведь после его откровений, она, и вправду, стала видеть все как бы в совершенно ином свете. Потому Варенька быстро подхватила шубку и прыгнула в экипаж. До Зимнего было всего ничего, но мороз так усилился, что и за те минуты что ехали, княжна успела замерзнуть. Или это дрожь бьет ее совсем по другой причине, так Варвара и не поняла.

Протасова уж ее дождалась. Вареньке велели тотчас пройти к камерюгфере в комнату.

– Привезла ли? – сразу спросила та.

Тут Варенька поведала всю историю своей поездки к ювелиру, исключая лишь разговоры с графом о предполагаемом подарке ее величеству. Однако ту подробность, что Погожев без колебаний отдал камень из своей коллекции для восстановления броши ее величества, не упустила, но лишь потому, что обойти ее не было никакой возможности. Анна Степановна изумилась.

– Смотри пожалуйста. Ты никому пока о том не рассказывай, поняла?

Варенька сразу кивнула. Теперь-то уж точно никому ничего и никогда, – подумала она. Однако поспешность Вареньки побудила Протасову более внимательно к ней присмотреться. Варвара постаралась сделать непроницаемое лицо.

– То-то же, – кивнула камерюгфера, – побудь тут пока, а я к государыне.

Оставшись одна в покоях Анны Степановны, Варенька осмотрелась по сторонам. Камерюгфера жила куда вольготнее, чем простые фрейлины. Большая кровать с балдахинном, дорогой шкаф для платьев, ковер на полу, часы над поставцом, печка в голландских изразцах и красивые вещицы на камине, на столике перед зеркалом, возле кровати. У других фрейлин такой роскоши не было. Узкая девичья кровать частенько бывала уж далеко не новой и даже хромоногой, платья висели за ширмочкой, кувшин и тазик для умывания улыбались щербинами.

Варенька с удовольствием прошлась по уютным богатым комнатам, потрогала дорогие бархатные портьеры в будуаре, провела рукой по полированным бокам круглого игорного столика на толстой монументальной ножке, похожей на лапу индийского слона, одетую в резные деревянные кружева. Должно быть, Анна Степановна часто собирала у себя близких товарок, иначе для чего таковой столик тут нужен. Впрочем, может это были кавалеры. Вареньке о даме этой было известно многое такое, что никак не вязалось с ее внешностью. Говорили, что прежде, чем удостоиться попасть в случай, многие претенденты в аманты государыни экзаменовались именно этой дамой. При мысли сей Варенька невольно посмотрела на роскошную постель. Но ничего такого представить себе не смогла. Ей только сызнова вспомнился граф Погожев, и она опять покраснела.

Тут же хотела она отвести глаза и отогнать стыдные картины, но ее внимание привлек какой-то цветной ворох, горкой высившийся на голубом атласном покрывале. Варенька несмело подошла, подозревая, что в комнате может быть еще кто-нибудь одушевленный, но в неверном свете свечей разглядела всего лишь впопыхах сброшенный мужской костюм – камзол и панталоны красного бархата винного оттенка и тончайшее белье. Из-под белой бати-

стовой сорочки высывался мужской парик пепельного цвета, так густо сдобренный пудрой, что большие ошметки оной неаккуратно осели на ярком бархате камзола и припорошили изысканный узор покрывала.

Варенька инстинктивно отпрянула, предполагая, что в комнате, точно, где-нибудь за ширмой прячется очередной соискатель внимания знатной дамы. Наверняка он следит за ней и уж точно, ее нескромное любопытство не укрылось от его взора. Как неприятно! Что о ней, о княжне Варваре Полетаевой, могут теперь подумать!? Любопытная сплетница, да еще, – тут Варенька припомнила свои давешние подвиги, совершенные в присутствии Александры Васильевны, – да еще не воздержана на язык, и до крайности наивна. До крайности! Да, что и говорить, откровенная дурочка. То-то пойдет молва!

Так бы Варенька себя грызла и грызла, да за дверью послышались шаги Анны Степановны. Варвара постаралась овладеть собственными чувствами – нельзя, чтобы еще и камер-юнгфера составила о ней ложное представление. Ведь Варенька все же не дурочка, чтобы там не говорили.

– Ну вот и я, – возвестила Протасова.

Варенька сделала книксен.

Протасова снова внимательно на нее посмотрела, но спросила только, как поживает маменька.

– Спасибо, здорова.

– Вот и славно, – проговорила Анна Степановна, – ты иди теперь. Да слышишь, княжна Варвара, про империал, что Погожев дал для цветка – никому.

Варенька снова сделала книксен и опустила глаза. На этот раз камер-юнгфера осталась ею вполне довольна.

Глава третья. Переломление несчастной воли судьбы

Зима в Петербурге выдалась на диво холодная. Весь январь выла вьюга, от которой замерзали окна и трещало в углах. Печи, как не топи, не давали достаточно тепла, чтобы обогреть графские хоромы, что на Невском возле моста через реку Мойку.

Этот дом был построен еще прадедом – сподвижником самого Петра Великого и ярким сторонником всех его прозападных идей. Мало кто из природных аристократов в те времена поддержал молодого царя, но боярин Погожев поддержал, видя в них только доброе. Оттого был в большой милости и в доверии самодержца. Отсюда и капиталы, семьей нажитые. Отсюда и графское достоинство, закрепленное за семьей на вечные времена. Конечно, и до Петровских времен Погожевы были не бедны. Кроме обширных имений с хорошей черной землицей и вольготными выпасами для скота, были у них еще и промыслы солеваренные. И это именно оттого Погожевы Петровские реформы так живо восприняли, что видели в оных возможности для расширения промысла и торговли. Так оно и произошло.

Но Погожевым недолго плодами реформ дали насладиться. При Екатерине Первой предприятие прадедово отписали в казну – и вся недолга. Однако же то, что успели поднакопить Арсений Федорович, а за ним и Федор Арсеньевич, никуда не делось, а сыновьями, приученными к трудам и рачительности, было только приумножено. Вот оттого и особняк большой каменный Погожевский был чуть ли не самым первым в Петербурге – дань моде, вложение капитала и услуга короне, ведь не всякий вельможа из новоявленных мог себе позволить каменное строение, а императорский дом ой как ратовал за то, чтобы сделать Петров город истинно европейским и блистательным.

Алексей Васильевич стоял у высокого стрельчатого окна и сквозь кружевные узоры на стеклах смотрел на замерзшую, точно витязь панцирем покрывшуюся, реку, на качающиеся под ветром заиндевелые ветки деревьев, на закутанных по самые глаза прохожих, и в голове у него все яснее выстраивался план, который он сам про себя называл «Переломление несчастной воли судьбы». «Преломление» сие графу было совершенно необходимо, потому что вовсе ему не было никакого резону уезжать из Питера и становится вслед за дядюшкой деревенским помещиком, не знающим иной жизни, кроме той, что вяло течет в округе. Однако ж несказанно трудно было спорить с судьбой, и он чуть было не спасовал. Спервоначально, это в тот самый день, как наткнулся на холодный прием при дворе и узрел множество затылков прежде почитавших честью водить с ним дружбу людей, Погожев впал в совершенную растерянность и даже слезу пустил, сбежав прямо с того памятного куртага в ближайший трактир.

Здесь его встретили куда любезней, и предложений последовало ему множество. Две крепкие и весьма фигуристые немки присели возле стола, сделав книксен какой-то уж очень затяжной и с таким низким поклоном, что это был уж вовсе не книксен, а целый реверанс. Однако целью сих див была демонстрация своих пышных прелестей, что вполне оправдывало средства, потому что демонстрировать было что, и на минуту Алексей Васильич забыл свои горести.

Потом после не известно уж какой рюмки хорошего рейнвейну, тискал он обеих немочек и засовывал золотые им прямо за корсет. Немочки кокетливо тупились и каждый раз говорили «битте», а потом уж лопотали на своем немецком, коему Погожев был выучен плохо, и оттого немочек еле понимал. Но что ему было до того. Какая разница чего они там стрекочут. Гораздо действеннее было для него одно слово, произнесенное по-русски.

– О, Полетаев! – Вскричал некто из глубины трактира и поднялся навстречу молодому князю, только что вошедшему с мороза.

Алексей Васильич поднял на него глаза и долго всматривался, почему-то ему казалось, что князь Полетаев должен был быть непременно с сестрой. И Варенька вроде бы и правда улыбнулась ему из-за плеча брата. Но потом он понял, что то была не Варенька, а трактирщица, и как только мог спутать! Да и что может делать молодая княжна в трактире? Глупость какая-то. Тьфу!

Постучал кулаком по столу. Потребовал, чтобы Гретхен или Амалия принесли ему еще вина. Одна из них встала – Гретхен или Амалия он и знать не знал. Но вроде бы Гретхен потоньше в талии, а Амалия покряжистее и вся в веснушках. Впрочем, может и наоборот. А как определить какова та, что ушла за вином, коли она ушла, ее уж и не спросишь, Гретхен она или Амалия. Погожев медленно повернулся к фройляйн, что осталась с ним за столом и теперь водила пальчиком по его ляжке, обтянутой бархатными штанами, и томно взирала то на него, то куда-то на угол поставца с расписными тарелками.

Алексее Васильичу очень хотелось спросить, Гретхен она или Амалия, но толи от томного взора, толи от шаловливого пальчика по его спине пошли мурашки и в паху произошло некое изменение. Гретхен или Амалия узрев сие, крепко схватила его за запястье и потащила куда-то, и, он точно помнил, что пошел за ней, но по пути взглядом наткнулся на князя Полетаева, который ужинал в дружеском кругу – без всяких там девок. Полетаев, как назло посмотрел прямо на графа и в чертах его граф увидел что-то знакомое до боли, что-то Варенькино, и оттолкнув Гретхен или Амалию, повернул к двери.

Впрочем, это ему казалось, что он пошел. На самом деле, Полетаев и его сотрапезники почти выволокли графа за дверь, нашли для него извозчика и даже заплатили за перевозку насмерть пьяного Погожева в родное гнездо. Но этого ничего Погожев уже не осознавал. Даже наутро, перебирая в мыслях подробности событий предыдущего дня, он мало что мог припомнить о своей попойке. Только иной раз всплывали в его памяти глаза князя Полетаева, так похожие на Варенькины и граф понимал, что что-то с ним такое связано, но вот что...

Чему и удивляться, в голове у графа царил такой сумбур, что и не мудрено. То ему мнилось внимательный лучистый и величественно холодный взор самой императрицы, которая оторвалась от разговоров с Потемкиным и смотрела на него все то время, пока он проделывал путь от дверей парадной залы до ее возвышения. То он вспоминал сверлящий взгляд Циклопа. То вдруг переключался мыслями на придворных, что вежливо раскланивались с ним и даже улыбались, но все издалека, как будто он был чумной. Смотри, уж похоронили! А давно ли личики делали заискивающие и кланялись низко, ниже даже чем Гретхен с Амалией. Ну до чего ж лживые морды! Тьфу. Показать бы им. Вот, чтобы все они увидели, от кого нос воротят! Ведь, если разобраться, то две трети из них новорожденные аристократы – ни породы, ни особых достоинств. Он-то не в пример этим выскочкам, исконный боярин. Погожев!

Ничего! Он еще возьмет свое! Утрут носы и снова побегут в ножки кланяться. Дайте только срок.

Вот тут граф и задумался по-настоящему. В конце концов, государыня только женщина. Он хорошо рассмотрел ее глаза тогда, после их ночи. Глаза ее, когда она смотрела на него, коленопреклоненного, сверху вниз были полны надеждой, и столько в них было чувств – и нежность, и недоверие, и даже опасение полюбить так, что забудешь все на свете. Такая любовь, говорят, связывала ее с Григорием Орловым.

Мысли об Орлове невольно навели Погожева на воспоминание о подаренном некогда государыне графом большущем алмазе, названном в честь дарителя. Ходили слухи что подарок, хоть и был сделан к именинам, а всеж имел под собой еще одно основание – некую размолвку произошедшую между Екатериной и Орловым по причине любвеобильности последнего. Говорят, тогда Екатерина его простила. Государыня все же женщина, а женщины любят подарки, что коронованные, что и не коронованные, все равно.

А почему бы не преподнести государыне коллекцию драгоценных камней и минералов – раз она такая редкостная, так пусть ее величество тешится, подумал граф. Но, подумав еще немного, принял иное решение – нужно из минералов и драгоценных камней нечто такое соорудить, чтобы на всю столицу прогреметь. И красотой, богатством и великолепием вещь эта должна превосходить все, что отныне и до веку подарят государыне. Этим замыслом поделился он лишь с Федотом Проскуриным, и бородач, огладив бороду, тут же впал в такую глухую задумчивость, что графу лишь только с помощью окрика удалось пробудить его.

– Говорю, поди отбери все самые дорогие камни. К ювелиру поедем.

Федот кивнул и поклонившись графу медленно пошел восвояси. Но глаза его были какими-то точно осоловелыми. Вот тут и опять впору задуматься честный он человек или только вид делает. Но графу было не до того, и он не задумался.

После визита к ювелиру Алексей Васильевич и вовсе повеселел. И вот сам бы не ответил, от чего больше – оттого, что повидавший на своем веку разное Функ, так живо заинтересовался его коллекцией или оттого, что он впервые так близко и накоротке поговорил с Варенькой, встреча с которой, он верил, не была ему случайной. Варенька расцвела пуще прежнего. Полгода назад она уже была хороша, но нынче красота ее стала уж и вовсе замечательной. И прикоснуться к Вареньке было страшно, потому что никак нельзя было понять – настоящая она или морок, что поселился в его голове, еще не совсем проветрившейся после вчерашних возлияний.

Но это все было еще до того, как Варвара скинула шубку, а уж как скинула, то он и вовсе дышать перестал и все мысли из его головы напрочь выветрились. Что там говорил Функ, на каких настаивал кондициях, он ничего не помнил, кроме ее глаз, точеной шейки, бархатных щечек и темных кудряшек. Варенька часто дышала и медальон на тонкой бархотке словно приседал в реверансе. Темный такой медальон весь в золотых завитушках, усыпанных мелкими бриллиантами. В пламени свечей он рассыпался снопом искорок, отчего вокруг Варвариной и без того аппетитной груди образовалось некое подобие нимба.

Графа от таких воспоминаний аж в пот бросило. Да и что это он? Мечтая возратить мимолетное счастье быть государыниным амантом, думает все время о другой. Да не ясно ль, что к ней ему путь все одно заказан. Заказан стараниями Параськи Вертуновской. И на что только свела его с ней горькая судьбина? Но граф все же верил в свое счастье. И нынче, стоя у окна, а так же и прохаживаясь по кабинету, продолжал раздумывать над стратегией «переломления несчастной воли судьбы».

Раздумья его, когда они шли в правильном русле, касались до предмета, который разумно преподнести ее царскому величеству. И тут он все более склонялся к тому, что посоветовала ему Варенька, а именно – к табакерке. Но таковых у государыни было много множество. Как бы сделать такую особенную, что была бы названа любимой и непременно погожевской. Мысль была очень заманчивой, и граф напрягал всю свою фантазию, но ничего такого необычного придумать не мог. Все, как будто, было уже опробовано ранее. Зашедши в полный тупик, он велел позвать Функа, а Федоту Проскуру сказал подготовить камни для ювелира.

– Мне бы показать чего... – робко попросил Федот.

– Ах, после, братец, после, – поморщился граф, – и без тебя голова кругом. Потом покажешь.

Поджидая ювелира, Погожев продолжил расхаживать по кабинету, как вдруг услышал, что за спиной распахнулась дверь. Стройная фигурка в светлой материи вплыла в комнату. Степанида.

– Ну, чего тебе, красавица?

– От обоза прискакали.

– Что говорят?

– Что, должно, не менее недели придется ждать декораций-то. Да уж актеры сильно померзли. Не велишь ли хоть бы хористам да балету ехать вперед, оставив декорации.

– Вздор! А кто присмотрит? Там костюмов и машинерии на великие деньги, а ну разворуют дорогой.

– Воля твоя, батюшка-граф, – раскраснелась Степанида, – а, я чай, они живые люди. Померзнут дорогой, так болеть еще начнут. А с больных-то тебе какой прок.

– И ведь тоже верно, – вздохнул граф. – Чего делать-то?

Степанида плечиком пожала. Улыбнулась и ресницы опустила.

– Ну говори, лиса.

– Отправь к обозу хоть шуб каких-никаких, да жаровен для колымаг, особливо, где хористы едут.

– Отправь! Да кто ж поедет.

– А вон дворни мало чтоль! Одни лентяи. Чего сделать не допросишься. Один пьян, другой на боковой лежит. Распустила всех графинюшка!

– Это какая графинюшка? – нахмурился Погожев, – Ты это Параську графией зовешь! Не смей, Степанида!

– Воля ваша, ваше сиятельство, – Степанида присела в реверансе. Душа ее ликовала. Так ликовала, что и сказать нельзя.

– Ладно, поди. Мне некогда теперь. Функ будет с минуты на минуту. Так ты сама распоряжения дай насчет тулупов и жаровен.

Степанида снова присела в знак покорности. Но уходить не торопилась, оттого, что знала, кто он такой есть господин Функ. На перстенок, графом дареный посмотрела украдкой. А ну как граф ей еще какой подарок сделает. Чего иначе он Функа этого позвал.

– Я вот еще думаю, – сказала она медленно, пытаясь тянуть время, – не послать ли туда хлеба, да солонины, да может еще вина, чтобы сугреться было чем, да...

– Пошли чего хочешь. На то моя воля, так и скажи управляющему. Теперь иди!

Степанида покорно направилась к двери, раздумывая, чего бы еще такое сказать, но тут дверь распахнулась, и маленький подслеповатый немец, а с ним немец помоложе с пухлыми папками в руках, появились в графском кабинете. Пока дверь за ними не закрылась, граф хорошо рассмотрел в дверном поеме проходящую по соседней зале Прасковью. Немец же, в силу своей слепоты, особу, именуемую графией Погожевой не заметил, а принял за оную встретившую его на пороге графского кабинета Степаниду. Именно с ней он раскланялся и воздал все причитающиеся хозяйке дома почести.

Граф, которому не хотелось посвящать ювелира в свои семейные дела, не стал его разубеждать. Степанида и подавно. Она млела от счастья, подавая ручку старому немцу. А тот на очень корявом русском языке восхищался ее тонкими пальчиками и советовал графу заказать для нее гарнитур по эскизу, который он немедленно готов предложить.

Алексей Васильевич обещался. Ювелир, не тратя времени, снял с ее пальчика мерку и намекнул графу, что в его коллекции есть прекрасный опал-арлекин, который как нельзя лучше пошел бы красавице-графине.

Степанида стояла опустив очи долу и вздыхала мечтательно. Графу было вовсе не до гарнитуров для Степаниды и он махнул рукой.

– После обсудим. Поди, Стеша, да позови Проскурина с коробками.

Тут только старый немец задумался, потому что слыхивал историю графа Погожева от своих многочисленных клиенток, и не раз. И он уж точно знал, что супругу графа зовут Прасковьей, а вовсе не так, как назвал граф. Впрочем, немец был тертый калач и удивления не показал. Лишь почтительно поклонился даме и, взяв у подмастерья выдавшую виды толстую кожаную папку, повернулся и протянул ее богатому заказчику.

– Это фсе ест эскизы, – проговорил он с некоторой даже гордостью в голосе. Видно было, что ювелир почитает свой вкус отменным, а придумки необыкновенными.

Граф нетерпеливо принялся листать. Но почти сразу поймал себя на том, что ничего нового и необычного в функовых эскизах не находит. Не находит, ну вот хоть тресни! Таковой в точности браслет видел он у княгини Голицыной. Эдакое кольцо у княжны Юсуповой, эдакое тоже мелькало где-то на балу.

– Да есть ли табакерки? – поинтересовался граф.

– Как ше ни быт! – Закивал Функ и тотчас взял у подмастерья другую папку и тоже протянул ее графу.

Погожев зашуршал листами. Немец давал пояснения.

– Фот сюда можно пустит яшму, а по краям сделат рамку из тумпазоф и на крышке большой сапфир. Фаша пейзажная яшма будет хараша к сапфиру. Это я фам гавару, Арнольд Функ.

– Хорошо, – мрачно согласился граф и уж было хотел возразить, что однако ж все это уж не ново, как дверь снова отворилась, впуская Федота Проскурина, тащившего коробки.

Подслеповатые глаза Функа заблестели. Подмастерье весь обратился в зрение. Но Федот, на физиономии которого отпечаталась некая досада, не торопился открывать крышки. И даже бесцеремонно отодвинул немцев, вплотную подошедших к ящикам.

– Я вам, ваше сиятельство, вот что скажу, – начал он свою речь без всяких предисловий. – Вы коллекцию-то из дому не велите выносить. Батюшка ваш меня к ней приставил, так, стало быть, я жизнь положу, чтобы ни одного камушка из нее не пропало. Так что, коли хотите делать подарок императрице, делайте, но только чтоб дома. Вот в задних комнатах оборудуем мастерскую. Станок шлифовальный поставим, так и пусть себе приходят как на службу и тут диковинку свою делают, не то ведь не уследишь.

Граф, хоть и хмурясь выслушал Федотову речь, да ругать его не стал. И даже подивился столь дельному предложению. Сам же кивнул и посмотрел на Функа, на лице которого было написано возмущение.

– Я ест честный ремесленник и знаю сфои рамки, граф Алексей Фасильефич. Однако, как фы ест мой спаситель в том деле с империалом для корзиношки ее императорского феличестфа, я не смогу фам отказат. Харашо, если фы так хотите, мы с Питером – это мой родстфенник и подмастерье, будем приходить и делат диковинка для нашей дарагой гасударыни.

Погожева вдруг кольнула совесть и от хотел было отказаться от таких услуг, но Федот вместо него ответил.

– Вот и славно! Батюшка бы одобрил, – с теми словами бородач отступил на шаг от коробок и открыл одну за другой крышки.

Граф в душе негодовал оттого, что Федот находит возможным вот так распоряжаться, но упоминание о батюшке его сразу отрезвило. И он себя убедил, что это не кто иной, как сам Василий Федорович с небес приходит снова к нему на помощь, говоря при этом от лица простого поморского рыбака, некогда пригретого им в своем доме. Ну, на этот раз так тому и быть.

Немцы, вооружившись лупами и еще каким-то малоизвестным инструментом, приступили к рассмотрению содержимого коробок. Коробок было всего три. В первой разложены самые дорогие камни – диаманты, рубины, сапфиры, падпараджа, да несколько смарагдов, в том числе и тот большой, что был ценнее прочих. Каждый камень лежал в своей ячейке, обитой бархатом, а под бархат еще ветошка чистенькая была положена, чтобы камушку, не дай Бог, неуютно не было в его гнезде.

Василий Федорович камни-то живыми существами называл и всех уверял, что с ними судьба поступит также, как сами они поступают с камнями. Вот поддал человек ногой камень, лежащий на дороге, ан и ему судьба також наподдала. А коли он его взял руками и легонько

перенес на обочину, то и жизнь ему будет также сладка, как камушку этого человека прикосновение. Вот и слыл старший граф Погожев чудачком из чудачков. Не понимали его люди. Вот разве только Функ.

– Фаш батюшка был истинный ценитель! – Говорил он, не сводя глаз с разноцветного многообразия, – он теперь на небесах, где обретают покой фсе удифительные люди.

От первой коробки он перешел ко второй, где лежали самоцветы – разные кварцы, тумпазы, бериллы, аквамарины, турмалины всех известных цветов. От второй – к третьей. Здесь были поделочные камни – редкого окраса яшмы, ониксы, кремни, малахиты и другие разные, всех и не перечтешь. И у каждой Функ отдал дань порядку и почти нероссийской щепетильности в подборе и раскладке образцов.

Граф же тем временем шурился листами принесенных Функом эскизов и все хмурился. Не того ему хотелось. Не таковое виделось. Не так как-то нужно. Вот это может быть? Виноградная кисть из самоцветов на крышке, а по основанию винные кубки эмалью выведены. Любопытно, но не то... граф чуть было во гневе не отбросил листок, как вдруг на что-то такое наткнулся. Что ж это было? Погожев начал ворошить листы с таким рвением, что мог их попросту все порвать, но вот тут-то и нашлось то самое. На клочке желтоватой бумаги красовался эскиз – ну ни дать ни взять подходящий. Изображал он табакерку, сделанную в виде небольшого пригорка. На вершине пригорка, опираясь пухлой ножкой на большой овальный камень, предположительно смарагд, стоял Амур и целился Золотым луком прямо в пастушка, вольготно разлегшегося возле сидящей на травке пастушки. Травка и цветочки в ней, само-собой должны были быть самоцветными, а ручеек, что сбегал с пригорка – тумпазым. В руке у пастушки был цветок, а внутри него – некая пружинка с секретом, нажатием на которую коробочка и открывалась, обнажая нутро, поделенное на несколько ячеек, как рекомендовала последняя мода.

– Вот! – Граф победно потряс бумагой у себя над головой.

Функ, сделав соответствующую мину, приблизился к столу, за которым восседал Погожев и взгляделся в рисунок.

– Но это не ест мой эскиз! – Сказал он возмущенно, – Не ест возможность сделать таких пастушков и пастореллин. Это ше ест камен, а не глина.

– А почто рисовал?

– То я рисовал, ваше сиятельство, – скромно отозвался Федот Проскурин, который от своего места возле ящичков ни на шаг не отступал.

– Ты, – подивился граф, – а чего молчал?

– Я уж хотел показать, а ваше сиятельство все молвили потом да потом. Вот уж я обманом. А этих пастушков с пастушками да божка Амура я уж выточу из кости. Тому научен. Правда, таких мелюсеньких еще делать не приходилось, да я спорый – наловчусь... Коли надо.

Граф сказал, что надо. Функу же велел приглядеть, где какие должны быть камни. Но прежде, чем приступить к тому, Функ еще поартачился:

– Я должен фас предупредит, граф Алексей Фасильевич, что табакерка по эскизу этот гаспадин ошень много займет места – будет торчат из одежда и нарушат элегантний фид.

– Это как раз не причина, чтобы отказываться от эскиза, – отмахнулся граф, – уж я-то знаю, что Екатерина Алексеевна табакерок с собой никогда не нашивает – они у нее во всех углах комнат разбросаны, а при себе у нее их никогда и нет. Это еще с давних пор повелось. Бывший государь наш Петр Федорович не любил табаку, так и вечно супруге своей выговаривал за сию привычку. Это она мне сама... Хм... Я слышал от многих... Оттого она и не стала табакерок при себе носить – чтобы искушения не было.

Немец не скрывал неудовольствия, но все же принялся за работу. Погожев, сияя от счастья, приказал Федоту тотчас заняться оборудованием мастерской для ювелира. Сам же еще раз взгляделся в эскиз, и тут, осененный идеей, чуть было не подпрыгнул на месте.

- А можно ли, Арнольд Христофорыч, там внутри коробочки выгравировать еще стихи?
- Если мы будем делат диковинка из подходящего камня, то это будет мощно.
- Так делай, Арнольд Христофорыч, я нынче же сочиню.

Немец снисходительно посмотрел на богатого заказчика, но все же поклонился и продолжил хлопотать над коробками с камнями, поминутно заглядывая в эскиз. Федот следил за ним точно недреманное око. Ну что ж, их вполне можно было теперь оставить, а самому – на конь, да проехать верст десять галопом, а то что-то засиделся.

Довольный сверх всякой меры граф вышел из кабинета и тут в большой зале потянулся, бросив взгляд на портрет отца, который всегда сразу выделял, несмотря на множество других, висящих рядом. Подмигнул старику, мол, мы еще возьмем свое. И повернул к лестнице, что вела на нижний этаж дома. И вот тут, и вправду, услышал шум боевых действий, кои уже производились в его доме пока еще он не знал кем. Но коль скоро спустился, то тут же и узнал.

Прасковья в сбившемся набок парике, намотав волосы Степаниды на руку таскала ее по всем сеням, а та как могла извивалась, и норовила то ударить барыню, а то и укусить, но Прасковья не сдавалась. Злость придавала ей сил и напрочь отбивала чувствительность к маневрам Степаниды. Обе визжали точно резаные – одна от боли, а другая от злорадного удовольствия. Дворня, присутствовавшая при этой сцене, реагировала неоднозначно. Иные хихикали в кулачок, иные боязливо вытаращили глаза, дрожали, как бы и им не досталось на орехи. Нечего было и ждать, чтобы кто-то вступился за горемычную.

Увидав графа, все тотчас расступились. А на Прасковью новое остервенение нашло – она с такой силой дернула Стешку за косу, что в ее руке клочок волос остался. Степанида вскрикнула и повалились без чувств, а Прасковья со злостью пнула ее ногой и убежала прочь.

Граф тотчас велел поймать мятежную супругу и запереть в ее комнате. Сам же склонился над примой и дутьем в лицо попытался привести певицу свою в чувства. Та приоткрыла глаза, жалобно застонала и рукой коснулась больного места.

– Перенесите Степаниду в постель, – скомандовал Погожев, – да доктора позовите. Но о том, что было, молчок! Кто слово вымолвит, тому тотчас також будет.

– Что же доктору сказать? – Осведомился просвещенный графский камердинер Прокопий Власьев, разглядывая свои ногти, – ведь чай спросит, что приключилось.

– А ты уж так и не придумаешь, – грозно насупился граф, – свали все на девку какую-нибудь сенную, да смотри, за Стешу мне все тут головой ответят!

Засим граф отвернулся от дворни и стал подниматься в комнату к нелюбезной супруге.

Прасковья рыдала и рвала волосы, но теперь уж себе. По ее некогда свежему лицу были размазаны сурьма, пудра и румяна, разведенные горячими слезами. Пожалуй, такого граф не ожидал. И еще того менее ожидал ее слов – как только он вошел, Прасковья кинулась к нему, воздевая руки к небу и вопя, что он ее мученически мучает, а она ни в чем нисколько не виновата.

– Это ты-то! – Вскричал граф, который все то время, что прошло с их свадьбы именно себя считал жертвой, никак не ее.

– Ну в чем? В чем я виновата-то, скажи, я ведь любила тебя больше жизни, а ты надсмеялся, бросил. С девкой живешь! Девке ювелира вызвал! Девка во всем доме распоряжается! Сама решает, что куда отправить, кому что дать! А я! Кто здесь я? Вовсе не хозяйка, а только тень какая-то.

Смотри что удумала! Что он ювелира для Степаниды вызвал. Дурная!

– А чего ты хотела-то, Прасковья? Знала ведь, что добром такое не кончится. Почто гирию пудовую мне на шею взвалила и утопить хотела, ведь знала же, что не люблю!

Прасковья вдруг перестала рыдать и посмотрела на него огромными темно-синими глазами. Надо же! А он и не знал, что у нее такие глаза. Словно и не видел их никогда. Да ведь и правду сказать, чего он в ней видел кроме богатого всегда открытого бюста, почитай ничего.

– А говорил, что любишь, – медленно и все еще прерывисто дыша произнесла Прасковья.

Граф опустил голову. Сам тоже конечно виноват. Но ведь она так давила на него тогда. Да и тетка ее еще тут как тут, наверняка, все у них уж было подстроено. Эх, да что теперь.

– Иной раз чего не скажешь, – с тяжелым вздохом проговорил Погожев, – что ж всему верить. Ты-то Прасковья тоже поди за графским титулом, да за богатством моим за меня пошла, а не по любви...

– Неправда! – Закричала тут графиня и даже ногой топнула. – Неправда! Неправда! Неправда! Я всегда, с первых дней, любила тебя! Думала о тебе. Я же, – тут она подошла к Погожеву вплотную, так близко, что он ощутил ее запах, который показался ему теперь каким-то тяжелым и даже душным – я же знаю, что и ты тоже... только одну меня и видел ране-то. Ну разве не так?

При этих словах графиня руки развела так, чтоб ее роскошные формы были хорошо ему видны, но, так уж случилось, боле они ему не нравились. Напротив, огромные, вываливающиеся из корсета груди Прасковьи были ему противны и напоминали двух толстых поросят у кормушки. Тьфу! Он невольно отстранился.

– Послушай, Прасковья, – заговорил решительно, Прасковья хныкнула, но замолкла, – хочешь ты того или нет, но жена ты мне только перед людьми, жить я с тобой не хочу и не буду. Давай разойдемся полюбовно. Ты живи, как хочешь. Я буду жить, как могу. Уж коли виноваты вместе, так и вместе надо выбираться. Содержание я тебе положу хорошее. Амантов себе коли хочешь, найдешь. Только детей, тобой прижитых, своими не признаю, не жди, хотя, содержание дам, но не без счета, а сколько там полагается. С месяц-другой поживи здесь. Реши, куда тебе податься. Но хозяйку из себя не строй, не стать тебе истинной графиней Погожевой. Все. Боле от меня ничего не жди.

С тем граф резко повернулся и зашагал к выходу. В сенях он велел подать лошадь и вскочив в седло, пришпорил скакуна так, что тот рванул с места, и чуть было не поскользнулся. В горячах Погожев не сразу и заметил что под ногами гололед, хоть коньки надевай. Умный конь сам пошел так быстро как хотел хозяин и как он сам мог по этакой скользени. Но все же эта езда была более шагом, чем галопом. Графских растрепанных чувств она никак успокоить не могла. Однако и дома оставаться теперь ему не хотелось. Слишком многое нужно было скинуть с плеч, слишком от многого избавиться. Не завернуть ли в кабак? Может и не помешало бы! Жаль, не было у него в Питере ни одного верного хорошего товарища. Вот бы поговорить с ним, так глядишь, и беда с буйной головы долой.

Кабак был где-то там, в конце Невской перспективы, стало быть, ехать надо было по прямой. Погожеву не след было направлять жеребчика, и он слегка расслабился, предоставив разгоряченную голову созерцанию, отгоняющему неприятные мысли.

Надобно сказать, что на ту пору уже вечерело, хоть и было всего часа четыре пополудни. Да ведь наши северные зимы известны как раз тем, что дня почти и не видно – лег спать темно, проснулся все темно, когда-когда увидишь бледный серый денек, чуть подкрашенный солнечным лучом, а так все сумерки. В сумерках созерцанию придаваться было не легко, тем паче, что фонарей в то время в Питере особенно много не было. На перспективе горели костры, возле которых грелась гольтьба и всякий городской сброд, который поселился в этих краях еще в те поры, когда царь Петр сволокивал простой люд без чина и звания на строительство своего города. Оттого и название люди сии получили – сволочи.

В тот денек на перспективе было их куда как много, ведь время стояло студеное. Людишки эти были не безопасны. Одному подле их мест гулять было не гоже. Оно конечно, ты их не трогаешь – и они спокойны, но коли проявишь высокомерие или еще какое неуважение окажешь, то уж пеняй на себя. Погожев всегда сволочи денег подавал, коли просили, не скупился. Оттого они его не задирали, хоть трезв ехал, хоть пьян возвращался. А вот некоего господина, что в эту пору был окружен толпой недобро настроенной гольтыбы, видно уж изрядно потрепали. Он, хоть и сидел еще на своей лошади, да был уж без шубы и так промерз, что, несмотря на свою явную храбрость, никак не мог дать достойный отпор лиходеям. Подъехав поближе, граф услышал французские слова, слетавшие с окоченевших губ и еще какие-то совсем неумелые русские, которые и на слова-то не были похожи, а пуще на междометия. Вглядевшись получше, Погожев признал доброго своего приятеля графа де Сегюра, и тотчас же подъехал.

– Чего хотите-то, православные? – Спросил он у народца, кивком здороваясь с графом.

– А мы вот мусью этому говорим, мол, нашей водочки изведай, так и сугреешься, а он все свое талдычит, пардон да пардон, – заговорил бойкий мужик с клочкастой бородой и в шапке ушанке, указывая на большую бутылку, что стояла в отдалении от костра. – Вот она водочка-то. Мы ему уж и стакан налили, а он, слышь, утирать его стал, точно мы черти какие нечестивые. Вот мы ему кресты-то показали, а он, смотри, теперь уж и совсем заиндевелый, поди еще и околет.

Толпа засмеялась. Многие состроили гримасы, иные с любопытством смотрели на «околевающего» графа, иные сверлили глазами Погожева.

– Я-то вижу! – Отозвался Алексей Васильевич, боковым зрением улавливая, что Сегюр, уж совсем синий в своем тонком шелковом камзоле. Сорвав с плеча шубу, он тотчас набросил ее на посланника. Сам же затребовал, – а ну дай стакан-то, чай не лето, не замерзнуть-бы.

Опорожнив махом полный стакан, поданный ему бродягой, дал на круг несколько монет и, взяв под уздцы жеребца де Сегюра, направил лошадей к дому.

Дома-то Алексей Васильевич все-таки уговорил француза испить водочки и когда лицо у того порозовело, а язык стал послушным, Сегюр прежде всего воскликнул, что благодарен Небу, что оно ему в спасителе неизменно посылает именно Алексея Васильевича.

Признаться, и Алексей Васильевич был благодарен Небу за то, что оно уж во второй раз послало ему Сегюра. Вот ведь стоило попросить, и откликнулось на его мечту, искал товарища, и товарищ перед ним, тут как тут. Погожев велел накрыть стол побогаче и принести еще водки, а Сегюру сказал, что граф нынче его гость и он его никуда не отпустит. Сегюр и не сопротивлялся особенно, а только удивился, что не видит нигде прекрасной Стефании, как прозывал он Стешу. Неужели граф оставил такое сокровище в деревне? Погожев вздохнул, мрачно окинул взором столовую залу и, испросив у Сегюра клятву, что происшествие сие останется между ними, поведал французу о нынешнем своем бедствии.

Сегюр слушал с нескрываемым интересом.

– Ваша жена имеет темперамент, – раздумчиво проговорил он по окончании погожевского повествования, – я сделал некоторые наблюдения и поделюсь с вами, если хотите. Большой темперамент в народе происходит от климата, в котором народ живет. Он может происходить от сильной жары, в какой живут, например, мориски или от сильного холода, и этому достойный пример Россия.

Алексей Васильевич изумился основательности вывода. Но все же это не сбрасывало с его плеч заботы. Каким бы ни был у Прасковьи темперамент, жизнь с ней ничего хорошего не предвещала.

– Мне-то что делать, – обреченно вздохнул Погожев, – разливая по рюмкам очередную порцию горячительного. – Ну, давай, граф, за здоровье.

Сегюр подумал немного, но рюмку все-таки взял, однако не опорожнил, а выпил лишь половину. Алексей Васильевич отнесся к сему снисходительно. Сам же опрокинул водочку одним глотком и замер в ожидании приятного тепла, что и говорить, без шубы-то и он промерз, до сей поры мурашки по спине бегали.

Сегюр невольно морщился. Водка ему была горька с непривычки. Алексей Васильевич подвинул к французу грибок соленых, да капусты. Попробуй, мол, заешь. После водки грибки да капуста первое дело. Сегюр нерешительно потянулся к миске с грибами. Алексей Васильевич показательно ткнул вилкой в румяную шляпку рыжика, поднес ко рту и положил на язык. Глаза закрыл удовлетворенно. А как открыл, то увидел, что и Сегюр вроде тоже доволен, и жует что-то. Ну, стало быть, можно продолжать разговор.

– Мне ведь видеть ее уж и то не в радость, а о прочем нечего и говорить.

Сегюр, прожевав, откинулся на спинку кресла и по блеску его глаз, Погожев понял, что тот уж немного пьян.

– Я не совсем понимаю вас, граф, – начал посланник, ставя локоть на бархатный подлокотник и кладя ногу на ногу, – графиня красива и довольно умна. Кроме прочего, она обладает такими формами м-м-м...

– Вот я, неразумный, на них и попался, – вздохнул Погожев, – если б не эти То жил бы сейчас совсем иначе.

Посланник, хоть и был немного во хмелю, сразу понял, о чем шла речь, но прежде чем ответить, посмотрел на Погожева с большим вниманием. Потом осторожно поинтересовался:

– Вы, граф, действительно так сожалеете о своей участи?

– Да как же иначе?

– Мне это странно слышать. Ведь я писал вам перед самыми Рождественскими праздниками, что рассказал ее императорскому величеству о театре вашем, о котором осталось у меня самое наилучшее впечатление, и императрица пожелала немедленно вызвать вас ко двору, чтобы вы дали представление в Новый год. Неужели письма сего вы не получали?

– Вот, значит, как, – Погожев пригладил волосы на затылке, – а я-то все думал, чего вдруг такая перемена.

Вздыхая и закусывая губы, Алексей Васильевич пересказал Сегюру всю историю с письмами. Покраснел, когда сказал, что сегюрова письма даже и не видел. Оно небось так и лежит в неразобранной горке у него на столе в барском доме в сельце Погожем. Глупо повел себя Алексей Васильевич, неаккуратно и вовсе не по-европейски. Посланник имел право осудить. Но тот лишь рассмеялся.

– С вами, русскими, никогда не знаешь чего ожидать! Право, мне очень нравится ваш национальный характер! Что-то в вас во всех есть истинное! Пожалуй, граф, налейте нам еще по рюмке. Мы выпьем за эти ваши чудачества и за то, чтобы боги удачи помогли нам поправить дело.

– А можно поправить? – С надеждой поинтересовался Погожев, разливая напиток.

– Несомненно! – Воскликнул граф и продолжил уж после того как поставил пустую рюмку на стол, а на языке у него податливо треснула и разлилась спелым соком клюква, положенная в рот вместе с квашеной капустой, – я теперь в некоей милости у ее величества. Сушная безделица, казалось бы, но.... Ее величество оценила.

Алексей Васильевич замер в ожидании. А граф Сегюр, отдав дань капусте, вдруг потянулся к студню и, положив кусочек к себе на тарелку, понюхал, слегка наклонившись, поднял бровь и принялся отрезать ножом малую толику, дабы ее сподручно было подцепить вилкой. Попробовал, хмыкнул и продолжил есть.

– Так что ж вы сделали, – нетерпеливо спросил Погожев, у которого вдруг пропал аппетит от волнения.

– О, мой друг! Это печальная история. Но дело прошлое. Я всего лишь написал эпитафию на смерть прелестной Земиры, которую ее величество сочла удачной, и даже велела начертать на надгробии сей особы.

– Это какой еще Земиры?

– Неужели вы не помните! Это собачка. Левретка. Леди Земира, если мне память не изменяет, – дочь не менее воздушного существа леди Дюшесы. Прелестное было создание. В начале зимы она преставилась, так ее величество сильно горевали, и тогда я преподнес ей эпитафию. Она посчитала ее любопытной и довольно скоро утешилась. Зато я теперь в милости.

Алексей Васильевич вздохнул. Этаким сегюровской легкости, свойственной, впрочем, многим французам, в нем отродясь не было. Все-то он себя пилил, мучил, не знал как подступиться к тому или к этому, а вот француз, р-раз, и в дамки! Каков!

– Не вздыхайте, граф, – дружески проговорил Сегюр, – поверьте, вашему горю вполне можно помочь. Расположение к вам императрицы вернется. Слышал, скоро у вас большие праздники. Русский карнавал. Как это? Масселиса...

– Масленица!

– Кажется так. Мне говорили, что это сплошное веселье. Балы, скачки, спектакли. Подготовьте несколько своих прекрасных представлений. Надеюсь, вы привезли с собой свой театр?

– Обозом тянется.

– Так вам главное поспеть. Я же сделаю, что смогу. Поверьте, ее величество примет ваше приглашение, ну а дальше, вам и карты в руки!

Нельзя сказать, чтоб Алексей Васильевич был уж очень легковверен, и на то, что Сегюру удастся изменить мнение императрицы, он не очень-то уповал, разве только преставится еще какая левретка и француз снова напишет изысканную эпитафию. Но всякое могло быть. Сегюровы легкость, обаяние и живость ума вполне могли сделать свое дело. Пожалуй, стоило положить на судьбу, принявшую французово обличье и постараться не упустить последнюю возможность исправить положение. Дело было только за театром, который он ждал со дня на день и уж весь извелся, когда, наконец, получил весточку от передового обоза – мол, завтра въедет театральный поезд в славный город Питер.

Тем же вечером, а у Судьбы все так – то она тебя не замечает, то засыпает известиями, Сегюр явился к нему прямо с бала и, дружески пожав руку, обрадовал:

– Говорил нынче о вас с ее величеством. Мне показалось, что она к вам благосклонна, хотя, право, немного дует из-за того, что вас не было на Рождество. Мне пришлось дать объяснения.

– Что же вы сказали?

– Правду, мой друг.

– К-как же так?

Алексей Васильевич замер от ужаса. Сегюр, взглянув на него, тотчас сжалился.

– Поверьте, друг мой, правда в подобных случаях лучше всего. Ну, как вы сказались бы больным, так по этому поводу немедленно должна была бы последовать отписка, а ее не было. Стало быть, вы невнимательны как подданный, а как обыватель обладаете плохой манерой не отвечать на письма. Это для вас не лучшая характеристика.

– Но я думал свалить все на почту.

Сегюр наклонил голову и скосил взгляд куда-то в угол.

– Вы молоды. Я несколько старше, поэтому позволю себе совет. Никогда не говорите монарху, что в его государстве что-то не так и плохо работает. Пострадают люди и возненавидят вас. Выгоды от этого не будет вам никакой. В следующий раз свинью подложат, и вам уж точно несдобровать.

Алексей Васильевич слушал мудрые наставления с открытой душой, но, вместе с тем, ощущал, что от них ему становится только хуже. Он почти почувствовал, как на шее его затягивается веревка, а из-под ног вышибают подставку. Граф без труда угадал его мысли и тут поднял холеный палец вверх, отчего белый кружевной манжет эффектно возлег на темно-синем бархате рукава.

– Теперь рассмотрим ваш случай. Вы не вскрывали писем целый месяц. Но отчего? Первое – оттого, что безмерно страдали от разрыва с той, о которой грезили, вам было все равно, даже если весь мир полетит в тартарары. Второе – оттого, что пытались забытья в работе и занимались упорным трудом, надеясь плоды трудов своих некогда представить предмету страсти. И, наконец, третье – не желали ничего слышать о ненавистной женщине, которая была виной всем вашим несчастьям.

– Граф, – потрясенно воскликнул Погожев, – но ведь это именно так и было!

– Не сомневаюсь, друг мой, то состояние, в котором я застал вас в деревне, очень красноречиво указывало на все вышесказанное.

– И вы все это донесли ее величеству?

– Не скажу, что все. Ведь о вас, друг мой, можно написать целую поэму, но в общих чертах я ей поведал все, что успел.

– Стало быть, она больше не гневается?

– Вы можете себе представить, чтобы она открыто это мне сказала? Разумеется, нет. Главное, что она слушала. Если б она о вас знать ничего не хотела, то тотчас бы переменяла тему. Учтите, что при ней как всегда был этот несносный человек.

– Потемкин?

– Когда вышла государыня, он тотчас припал к ее руке, но вовсе не для того чтобы поцеловать, а лишь из любопытства, надела ли она какой-то там перстень, который он положил для нее в ящик Амура. Держу пари, в его кармане всегда есть ключ от ее спальни.

– Ну, вообще-то говорят...

– Не продолжайте, на вас ваши высказывания могут наложить некую ответственность, ведь это дело, скорее политическое, а я все-таки посол. Посему, лучше молчите. Когда, кстати, вы ждете театр?

– Уже завтра.

– Так поговорим лучше о нем. Что вы собираетесь представлять?

– Я думал, может какую пьесу самой государыни.

– Возможно, – раздумчиво протянул граф. – Я почту за честь быть в сем деле вам советчиком и сам еще подумаю над тем.

– Если б вы знали, как я вам признателен!

– Не торопитесь, друг мой, это все еще впереди, – Сегюр собрался уходить, но на полпути к дверям вдруг остановился и по-обыкновению снова поднял палец вверх. – Ящик Амура, кстати, совсем неплохое название для вашего представления. Образованным дамам всегда нравятся что-то эдакое в античном стиле. А уж мужчины будут вдвойне вам благодарны, если вы оденете хорошеньких актрис древними гречанками или римлянками. Благоприятные отзывы, по крайней мере, я вам гарантирую.

Улыбаясь и пожимая дружески протянутую Сегюром руку, Алексей Васильевич вдруг почувствовал легкий укол совести. Совсем небольшой укол совести, но этого достало, чтобы погожевское рукопожатие вдруг совсем ослабло, хотя руку он у Сегюра не отнял, а так и стоял с протянутой правой, левую же возвел ко лбу и стукнул по нему кулаком. Он вспомнил вдруг Вареньку. Морозный день. Они стояли возле двери ювелирной мастерской Функа и разговаривали о совсем ничего не значащих вещах. Он нес околесицу в надежде задержать ее хотя б еще на минуту. Она что-то ему передала.

– Ящик Амура, – простонал граф Погожев, чем вызвал благосклонный взгляд графа Сегюра.

– Вижу, мой друг, вы уцепились за эту идею.

– Не в том дело, граф! Вернее идея превосходная, но я кое-что забыл. Если б вы могли оказать мне одну услугу....

– Для вас все что угодно, друг мой.

– Так вот. Я сейчас все расскажу вам. Этот ящик Амура он ведь у меня. Мне дала его одна особа.

Сегюр был озадачен.

– Ящик Амура самой государыни?

– Боже сохрани, граф! Это игра такая. Я вас посвящу, – и Погожев рассказал, что в данном случае скрывается за этим сочетанием слов.

– Угу, – задумался Сегюр, – но я чем могу помочь?

– Я просто передам вам сию вещицу, чтобы вы могли пустить ее дальше. Мне пока не надлежит показываться при дворе, а задерживать надолго сей посланец я не должен. Вы на свое усмотрение распорядитесь им и, если хотите, так ничего можете не класть.

– Ну, отчего же! Идея мне нравится. Я положу в него дешифровку писем некоторых англичан из торговой компании, думаю это подношение будет небезынтересно государыне.

– Вы шутник граф. Ну, беретесь?

– Я ведь уж сказал, что готов это сделать для вас, да мне, признаться и самому любопытно.

Не иначе, есть кто-то у графа Сегюра на сердце, подумал Алексей Васильевич, бросаясь вверх по лестнице в свою спальню. Посланец стоял возле зеркала, кажется на том же месте, где и был оставлен несколько дней назад. Погожев даже не удосужился его открыть, надо хоть теперь это сделать.

Перстень светлейшего светлым пятном выделялся в коварной полутьме ларчика, но и он не смог заслонить собой того, что граф увидел. Не мечтал, а увидел. Подумал, что ошибается, но потом снова вспомнил и узрел точно наяву сноп бриллиантовых искорок на высокой Варенькиной груди. Она тогда подошла к нему поближе, и он хорошо рассмотрел этот медальон. Но ему ли он предназначался? Не может быть, чтобы у такой красавицы до сей поры не было кавалера. Болтали что-то про князя Комарицкого, припомнилось тут, но Погожев, как не напрягался, не мог представить себе этого шута горохового с аршином пудры на физиономии рядом с Варенькой – свежей, искренней, и чуть смугловатой.

А вот уж дудки! Не получают он Вареньку. Не получит никогда! И Варвара не зря положила этот медальон в коробочку прямо тогда у ювелира, не заранее, нет, тогда, а прежде, как раз перед тем, подошла к нему поближе, чтобы он смог ее как следует рассмотреть. Да только верить ли такому счастью? Чай, не безмозглая она девица, чтобы связаться с ним? Кто он? Опальный, жена на шее пудовым камнем повисла. Но ведь Варвара все это знала. Знала и подошла, а потом положила в коробочку медальон.

Граф казался себе вором, когда вынимал драгоценность из ларчика. Руки его дрожали, пальцы не хотели слушаться, но он все-таки взял медальон. Взял и прижал к груди, уверенный, что никогда с ним боле не расстанется.

Глава четвертая. Печальная Венера

В эти несколько месяцев, что прошли со дня смерти генерала Ланского, Екатерина Алексеевна чувствовала себя как никогда одинокой и усталой. Не было такого ранее, чтобы нарушала она свой привычный режим, чтобы откладывала дела на потом. Но когда умер Ланской, случилось и это. Правда, ненадолго она позволила взять верх слабости. Быстро собрала волю в кулак, и зажила прежней жизнью. В шесть часов утра у нее всегда был подъем, сразу после подъема кофий со сливками и печеньем. Далее работа с секретарями, просмотр бумаг, писем, депеш. Потом легкий завтрак, прогулка, прием просителей. Сызнова секретари, бумаги, проекты, реляции. Она во все входила, в каждую мелочь. С каждым говорила заинтересованно, давая понять, что она ценит рвение, но и провести себя не даст.

Деньги. Всем были нужны деньги. Всем хотелось побыстрее и поболее нахватать, а казна и так не в лучшем состоянии. Один лишь человек за всю ее жизнь был по-настоящему сердечен и бескорыстен, Саша Ланской. Один он разделял все ее тревоги и заботы, не требуя и не желая ничего себе, не запуская лапу в государственные финансы и не встречая ни в какие интриги. Всегда говорил, что награда ему она сама, Екатерина. Вот оттого она и тужила по его ясным глазам и доброй искренней душе. Крепкое ладное тело, что ж, поведи она только взором, и к ногам ее бросится любой, кого б она не захотела. Бросится, но не будет предан ни телом, ни душой. Так уже было не раз. Орлов, Потемкин, Корсаков. Все они оказались не в пример Сашеньке вероломны. А так хотелось верить. Так хотелось!

И вот однажды ей показалось, что она снова может быть счастливой. Снова будет желанной и единственной. Снова почувствует себя только женщиной, а не источником, что питает небеса, проливающие золотой дождь над теми, кто в фаворе. Тогда на куртаге она увидела глаза графа Погожева, и ей вдруг на минуту показалось, что перед ней ее Сашенька. Ладный, веселый, влюбленный, не упускающий случая обнять ее и покрыть поцелуями лицо, шею и декольте, если они оставалась наедине.

Тогда она поверила искреннему, как ей показалось взгляду, расслабилась в жарких объятиях, позволила себе думать, что опять вдруг вернулась к ней молодость, резвость и прежний любовный пыл, что так привлекал поклонников. Да и как не расслабиться, как не поверить когда страсть молодого графа пылала с таким жаром, который нельзя изобразить, не чувствуя расположения и не ощущая горячего желания владеть именно ею, а не какой-то другой женщиной. А вот, поди ж ты, оказалось, можно было все изобразить, – и страсть и томление в груди и нежность, – лелея в сердце совсем другой предмет обожания.

Когда Марья Саввишна рассказала про роман Погожева с Прасковьей Вертуновской, Екатерина немедленно велела призвать сию деву и взглядом ревнивым вцепилась в ее лицо, придирчиво оглядела фигуру, точно в первый раз видела. И осталась недовольна. Государыне показалось, что Создателя, одарившего Прасковью столь щедро упрекнуть не в чем. Ничего он не забыл дать ей, всего было отпущено вдоволь и полные округлые формы были у Прасковьи, и белая румяная кожа, и любовный темперамент, о котором Екатерина судила по взору, быстрому, жгучему, но вместе стыдливому.

Невольно императрица перевела взгляд на свое отражение в зеркале и, сердце покатилося в пятки. Еще утром смотрела она на себя, и казалась все той же юной девицей, только что соскочившей с норовистой лошадки, унесшей ее далеко в поля, и, к неудовольствию тетушки Елисаветы Петровны, покрывшейся смуглым румянцем от солнца и быстрой скачки. Но вот уж теперь, видя контраст с Прасковьей, она вдруг ощутила на себя груз всех пятидесяти пяти лет, и поняла, нет, не могла быть страсть графа истинной, огонь его пылал не для нее, для

другой. Другую воображал он в объятиях своих, когда ласкал ее и шептал нежные слова. Ну так что ж, пусть ее и получит.

Оженив и отправив от двора графа Погожева, императрица быстро забыла о нем и все грустила о Сашеньке, как вдруг ей о графе напомнили. И самым неожиданным образом. Да и кто! Сегюр! Граф де Сегюр, который приехал в Россию, склонить императрицу на союз с Францией.

Правду сказать, Екатерина не любила, когда в ее дела вмешивались, и миссия Сегюра была ей понятна с самого начала, еще до его приезда. Отговорить императрицу от дальнейшего продвижения на юг и убедить не трепать границ Блистательной Порты, – вот для чего ехал он в Петербург. Но Екатерина была тверда в своих намерениях и планах, потому Сегюра особенно слушать не собиралась, хотя и приняла со всеми причитающимися почестями.

Он же, к чести сказать, не спешил интриговать и «наставлять императрицу на свой путь», а вопреки ожиданиям ворвался вихрем в светскую жизнь, закрутил множество романов и живо заинтересовался русской стариной. Таков уж он был, граф де Сегюр – любознательный путешественник, увлекающаяся натура, дамский угодник, гурман, поэт, словом, человек, жадный до удовольствий жизни, хотя, конечно, вольнодумец.

Поговорив с ним полчаса, императрица уверилась, что граф несколько не скрывает своих взглядов, довольно опасных и неуместных, на ее взгляд. Однако Екатерину это не слишком пугало, потому как они, по ее разумению, в России прижиться никак не смогли бы, хотя и были б ей отчасти даже полезны. Уж слишком мало ценили русские сами себя. Человеческое достоинство было для большинства пустым звуком. Иные вовсе не видели в простом человеке личности. Хотя, что в простом! Дворянин, забыв о чести, воровал, драл крепостных, бездельничал, вместо того чтобы выполнять высокую возложенную на него Богом миссию провещать, блюсти своих людей, приучать их к культуре, внушать доброе, и служить примером честной жизни.

И каково ж было удивление государыни, когда услышала она восторженные слова Сегюра о графе Погожеве, который в имении своем, что в ста пятидесяти верстах от стольного города Питера, завел такой удивительный театр, какового некоторые идеи и придумки с гордостью воспринял бы любой парижский или итальянский. Следя за восторженной речью Сегюра, Екатерина испытала нечто похожее на гордость. Меценат, просветитель, образователь своих крепостных граф Погожев, стал вдруг для нее на одну планку с Руссо, которого она хоть и не любила, но идеями коего питалась, разрабатывая свою линию в воспитании внуков.

Тотчас после ухода посла, она повелела Безбородко писать Погожеву в деревню письмо, где о милостивом прощении и речи не будет, но будет приказ вернуться в Петербург для представления спектаклей, что само собой подразумевало и милостивое прощение. Однако граф не явился. Это сильно ее раздосадовало, хоть она того не показала. Отчасти из-за того, что тут было задето ее женское самолюбие, отчасти из-за удивления, что граф нашел возможным перечить ее воле – это было ей странно и непривычно и поселило в голове мысль, уж не был ли и граф Погожев этаким вольнодумцем, на французский манер. Тогда уж, Бог с ним, пусть и вовсе не едет.

И вот, когда она о нем вдругорядь позабыла, он неожиданно и появился. Не каялся, ни о чем не просил, не бросал на нее испепеляющих взглядов, а все же пришел на куртаг лишь ради нее, она это хорошо поняла, потому что ни на кого другого он не смотрел, по прочим дамам и взглядом не скользнул, но стоял в стороне и все ждал, когда она позовет, а не дождавшись ее призыва, ушел и больше не показывался при дворе. Невольно она отметила сколь любопытно для нее его поведение. И где-то в глубине сознания мелькнула у нее мысль, а может в ее жизни зарождается новый, наверное уже последний роман. Однако мысль эту она быстро отбросила, два раза в одну воду не войдешь. Да и светлейший уж кого-то ей нашел и кажется собирается представить как только она сочтет возможным прекратить траурный пост в своей личной жизни.

Екатерина Алексеевна и не заметила, как мысли ее переключились вдруг на Потемкина, который уж скоро должен был прийти. Впрочем, светлейший бывало что и опаздывал, не являлся в оговоренный час, иногда и совсем не приходил, зато в другой раз мог прийти внезапно, когда она и не ждала. Все дозволено было ее ближнему другу, дорогому воспитаннику, как она его сама называла, соправителю, как считала подвластная ей страна. Она знала о чем болтают у нее за спиной, но в ее сильной независимой натуре ничьи досужие домыслы о сем предмете не вызывали ни малейшего протеста, ибо они касались Потемкина, а то человек особенный. Он умен, силен и отважен. У него деловая хватка, а своим натиском он способен опрокинуть сопротивление любого существа, будь то человек или дьявол. Он и ее умел во многом убедить. Во многом, но не во всем.

Не понимала и не принимала она его любовных связей с племянницами. Уж слишком цинично попирали светлейший устои христианской морали. Было в сих связях что-то порочащее, вредное и грязное. Может быть из-за них, из-за этих связей она и отказалась тайно венчаться с ним. Отказалась, и как показало время, была права.

Светлейший всегда был большим охотником до женского полу, а уж с течением времени и вовсе превратился в невоздержанного сластолюбца – без всякого сокрытия везде и всюду возил целый гарем прекрасных женщин, как дворянок, среди которых были и дочери весьма известных фамилий, так и девиц малопонятного происхождения. Тут были и бессарабки, и турчанки, и волошанки, привезенные им из южных походов. Были и крепостные девки из смоленских имений и Малороссии, да и Бог знает, может даже цыганки какие-нибудь были, это не вызвало бы ни у кого удивления.

Однако Екатерина все ему спускала – где большой человек, там и большой размах. Во всем. Во всем Потемкин был ненасытен – в еде, в постельных радостях, в тратах, в желании обладать всем, что только есть на свете дорогого, красивого, важного и необычного.

Племянницы его девицы Энгельгардт стали одна за другой подрастать как раз когда он вошел при ее дворе в силу. К тому времени они осиротели, и Потемкин взял их в Петербург в свой дом. Одну за другой вывел в свет, обеспечил, дал хорошее приданое и выдал замуж. Но прежде каждая стала его наложницей. Екатерина хорошо помнила всех их, и каждый раз удивлялась, как те с таким спокойствием выносят подобные вещи. Но, снова поглядев на Григория Александровича, некогда и ей сердешного друга, понимала, нет и не будет в свете такого удивительного молодца с подобной выправкой, разумом во взоре, с таковою живостью и силой в движениях.

Племянницы молились на него как на Бога, обожали безгранично и готовы были для него на все, что и не удивительно, ведь это он вытащил их из глуши и безвестности, он сделал их светскими, богатыми, желанными в любом доме, принятыми в кружке самых знатных и блестящих дам России. С возвышением Потемкина сразу четыре золушки Энгельгардт стали прекрасными принцессами, партии для которых выбрал сам дядюшка. Варвара, именуемая Варенька Сладкие губки, отдана была за князя Голицына, Татьяна за князя Юсупова. Когда же подошло время Александры, то тут уж сыграли роль интересы российской короны в Польше и племянница светлейшего была предложена самому канцлеру Браницкому. Тот не отказался от золотой невесты, за которой было дано столько, что и сам король не отказался бы. Санечка, как звал ее князь, была самой верной его обожательницей и каждую зиму проводила с дядюшкой в Петербурге, тогда как летом жила в своих малороссийских имениях. Была она в Петербурге и теперь, когда самую младшую флегматичную красавицу Екатерину дядюшка наконец-таки отослал к мужу графу Скавронскому, тосковавшему по законной половине в Венеции, куда был отправлен в качестве посланника.

Санечке Потемкин всегда был рад. Приставлял к ней попечителем какого-нибудь из своих секретарей, а иногда возил с собой к императрице. Екатерина Алексеевна и теперь бы не удивилась, войди он к ней со своей любимой Санечкой. Впрочем, Санечку Екатерина Алек-

сеевна и сама жаловала больше, чем других. Оттого что видела как этой провинциальной девушке, разумной, но все-таки робкой, трудно даются первые шаги в высшем свете. Глядя на нее, она не раз вспоминала маленькую Фике, из захолустья крошечного Цербста, попавшую в самый центр пышного, развращенного и лицемерного двора. Тогда ей тоже было трудно, куда труднее, чем Санечке, за каждым шагом которой следил добрый, хоть и деспотичный дядя.

И все же она отличалась от сестер. Варвара и Татьяна, попав в большие старинные семейства, порвали порочную связь навсегда, Катерина отдавалась дяде по недалекости, да еще из боязни обидеть. И лишь Александра любила этого человека истинно и страстно, признавая все его достоинства и прощая все недостатки. Она сама обладала развитым умом и обостренной чувственностью, которую не скрывала, считая, что ей в ее положении уж нечего скрываться. Она не была лицемеркой, и может быть как раз это так нравилось в ней Екатерине. Иные, она слышала, говаривали, что Санечка ее, Екатерины Алексеевны дочь, подмененная, некогда Павлом. Императрица даже не велела такие слухи пресекать, так они были глупы и несостоятельны. Основаны-то лишь на том, что Александра и Павел одногодки, да на всегдашней радости, с которой Катерина Алексеевна встречала Санечку.

Радость эта была не случайной, Александра всегда умудрялась разрядить напряжение, которое вдруг возникало в ее отношениях со светлейшим, забравшим себе все более воли. Оттого вовсе не плохо было бы, если б и сейчас он привез с собой племянницу. Катерина вздохнула, еще раз просмотрела бумаги, о которых собиралась говорить, разложила их по порядку на своем рабочем столе и тут услышала стук каблучков за дверью. Прислушалась. Один пришел. Ну что ж, разговор будет не из легких.

***.

– Что опоздал, князь Григорий Александрович, – спросила она, повернувшись вполоборота, отчего ее профиль в свете ярко пылающих свечей отчетливо высветился на фоне темной бархатной портьеры.

Виновные бывало трепетали, коли она становилась таковою, Потемкин ничуть не смутился. Он был столь возбужден, что казалось не уловил настроения императрицы.

– Ты, чай, не слыхала еще, матушка, анекдотец-то наш последний? – Бодро осведомился он.

Екатерина все знала, но сделала вид, что ничего не слышала.

– Так, стало быть, будет мне, чем тебя позабавить, – продолжил Потемкин тем же тоном, подходя к повелительнице и прикладываясь к ручке.

Она величаво кивнула, словно подавая сигнал, что вполне готова слушать.

– Помнишь ли ту актрисулю французскую, что на днях была посажена под арест в Дирекции театров.

– Ту, что Степан Стрекалов в чем-то заподозрил?

– Ее. Так вот, скажу я тебе, матушка, что хоть Стрекалов и бездельник каких поискать, да не без дела мадемуазельку эту стал подозревать. Исподволь выпрошенные моими людьми лица, что посещали сию злокозненную девку, а ты ведь знаешь, какой это все народ – иные из них сенаторы, иные вхожи в кабинет и при дворе свои люди. Так вот все опрошенные подтверждают, что мадемуазелька не раз выпытывала у них про твое, матушка, житье-бытье и про твои взгляды на обзаведение новым сердечным дружкой. Также де интересовалась она, нет ли уже такового на примете и ежели есть, то кто он и из каковых будет. А, что скажешь?

– Шпионка, – кратко ответила государыня, которой выслушивать подобное было не впервой. – Господин де Верженн все никак не успокоится, видя нашу дружбу с императором и то, как ты, светлейший, осуществляешь давно задуманное нами. Но потуги его подобны ударам утиных крыльев по воде – одни круги от них, а взлету не получается.

– Вот тут уж ты верно, подметила, матушка, – захохотал Григорий Александрович, – круги так круги. Вот я тебе сейчас поведаю. Стало быть, как Стрекалов и хотел, заперли маде-

муазель Монтваль в дирекции. Да допросить ее не поспешили, оттого что время было позднее, а ради нее поднимать никого не стали. А все из-за того, что не очень-то верили, что сия незначительная певичка может причинить сколь-нибудь существенный вред. Да вот тут мы можно сказать просчитались. Той же ночью чуть было не улетела пташка-то. Некие господа из французов подготовили ее побег, да так ловко, что даже и часовой не заметил. Девица уже вылезла из окна и была посажена в экипаж, когда он закричал и засвистел, да все было бы уже напрасно, если бы не было стянуто к месту наших сил.

– Стало быть, мы были готовы к демаршам французов?

– Предупреждены, матушка. Предупреждены.

– Кем же?

– А вот кем, тут и есть главный анекдот. В дом князя Вяземского той ночью нанес визит странный незнакомец. Лица его и фигуры никто не видел, так как оные скрывал плащ и лишь по одной вещи его смог бы приметить всякий. На руке у него был один известный тебе, матушка, перстень с большим брильянтом и монограммами. Человек так и не снял плаща, когда ему предложили, а лишь отдал Александру Алексеевичу записку, в коей и говорилось о предстоящем побеге, и ушел, не дожидаясь ответа.

– Возможно он не скрывался, а лишь торопился, – предположила императрица.

– Возможно, – согласился светлейший, – Если бы скрывался, не надел бы такое приметное кольцо. Но это кольцо всякий мог узнать, а уж Вяземскому-то оно хорошо известно, и он не мог ошибиться...

– Ошибиться в чем?

– А вот в чем, матушка, кольцо это принадлежит мне, и я долго его нашивал, да надоело, вот и пустил его в тот ящичек, что ходит по кругу, ну ты знаешь эту забаву...

– Посланец? Неужто в него еще играют? Вот глупая затея. Кому она только в голову пришла.

– А мне вот, признаться, матушка, она любопытна. Интересно как далеко зайдет алчность людская. Вот положу туда брильянт поболее и все гляжу, где же он появится или у ювелиров справки навожу, не приносили ль им в переделку эдакое кольцо или брошь, а как скажут, приносил такой и такой, так и знаю, с этим дела иметь не стоит, вор.

Екатерина Алексеевна грустно рассмеялась.

– Забавишься с людьми как кот с мышами.

– А чего мне не позабавиться. Иного то я и так насквозь вижу, а вот иной загадка, а все ж интересна природа сей загадки.

– К чему ведешь? – Воззрилась на светлейшего императрица.

Потемкин загадочно улыбнулся.

– Раздумываю о посланнике нынешнем французском.

– Да уж не тяни, Григорий Александрович. Хочешь сказать, что граф де Сегюр причастен к побегу, так и скажи.

– А вот и не могу сказать сего, – развел руками светлейший, – предполагал, а не могу. Все следы сего происшествия ведут к секретарю посольства Дюпре, назначенному задолго до графа Сегюра. Но... С трудом верится, чтоб означенный граф ничего о действиях сего секретаря не знал. Впрочем, ведь не каждый вхож в секрет короля Людовика и Сегюр, как доносит из Парижа Архип Иваныч Морков, куда дальше от сего славного тайного объединения, чем господин Дюпре, коего, матушка, я уж дал распоряжение выслать.

Императрица нахмурилась. Он снова все решал за нее. Впрочем, он знал, что она поступила бы точно также.

– Сегюра я бы не трогал, – рассуждал между тем Григорий Александрович, – личность занятная. За ним бы понаблюдать, да держать бы его поближе, на глазах. Да, за этим, я думаю, матушка, дело не станет. Он забавен и хорошо тебя развлекает.

Екатерина все более хмурилась. С чего это он решил, что ее удел теперь одни только развлечения, но вместо ответа, спросила довольно милостиво.

– Что дал допрос Дюпре?

– То, что и ожидали. Французская корона заинтересована в дружбе с человеком, который будет у тебя в фаворе. Верженн велел такого человека обхаживать и побуждать останавливать греческий проект поелику возможно. Но и более того скажу, матушка, Дюпре говорит, что у французов есть де свой человек, который славным амантом тебе может стать и они всячески постараются навязать его тебе в сердечные друзья.

– Что ж они себе возомнили! – Воскликнула императрица, чувствуя, как горячая волна негодования подступает к самому сердцу. – Сделать меня своей игрушкой! Да так ведь и до полного разрыва недалеко. Надобно немедля меры принять.

– Так выслать Сегюра?

Екатерина задумалась.

– Нет, не выслать... Напротив сделать своим человеком!

– Вот и верно, матушка, – обрадовался Потемкин, – я от тебя иного и не ожидал! Да и то сказать, другого пришлют, так каков он еще будет, а к этому у нас уже и тайный ключик имеется. Вот и поглядим чья возьмет.

Екатерина внимательно вгляделась в давно знакомое лицо. Знала она этого человека уж несчетное число лет, и уж вот годов десять, как знала ближе некуда. Видела всяким – и апатичным, погруженным в меланхолию, сутками лежащим на диване в старом изодранном халате, и взрывным, жаждущим деятельности, готовым свернуть горы, и оживленным, острым на язык, отдающим точные разумные приказы. Видела и таким как теперь – азартным, вдумчивым, могущим проникнуть во все тайны мира, завязать сотни интриг и втянуть в них десятки людей и целые государства. Он один при ее дворе был так деятелен и умен, он один был ей истинным помощником и настоящим другом, не смотря ни на какие прочие его увлечения. Ему одному доверяла по-настоящему.

Государыня улыбнулась и не стала дальше расспрашивать. Сказала только, что хитер, он, Григорий Александрович и думала уж отпустить с миром, но тут вошел ее камердинер Захар Зотов, сменивший на этом посту Шкурина, совсем еще недавно огорчившего свою повелительницу переселением в лучший мир, и доложил о приходе графини Браницкой. Государыня, утвердительно кивнула, что означало готовность принять племянницу светлейшего. Екатерина Алексеевна действительно была ей рада. Как и всегда. Теперь она лишь исподволь следила за князем, отмечая про себя и его радость, и еще раздумывая, случайно ли сие появление.

Александра ворвалась вихрем. И вместо того чтобы присесть в глубоком реверансе, подлетела к государыне и, опустившись на колени, поцеловала ей руку. Екатерина Алексеевна милостиво потрепала ее по щеке.

– Все хорошеешь, графиня. Что не была к праздникам?

– Ах, государыня, душа моя рвалась в Петербург, да приболел младший сын, и мне пришлось остаться при нем.

– Ну, встань-ка я на тебя полюбуюсь.

Браницкая легко поднялась на резвые ножки и показалась во всей красе.

– Новый туалет у тебя, еще не привычный. Что в Париже нынче вовсе фижмы не носят?

– А это не парижская мода. Сей из Англии фасон. Там теперь все более склоняются к античным временам и в моде совсем простое и свободное платье. Это словно в пику французам.

– Да ведь и то верно, – оживился вдруг Потемкин, плюхаясь в кресло и оглядывая свой камзол, – уж чего только на персону не наверхено. Да и туфли с пряжками... Для статского все неплохо, а для военного человека далеко не так хорошо.

– Да мы, дядюшка, боле о женских модах печемся, – дернула плечиком Санечка.

– Да хоть бы и о женских, – не смутился князь, – на иной столько тряпок, что и до сути не доберешься. Впрочем, все это еще цветики по сравнению с тем, что королевка-то их французская удумала. Слыхали поди сколь времени куафер над ней колдует?

– О!– воскликнула императрица, – недавно граф де Сегюр рассказал мне, что каждую неделю делают ей прическу и иногда времени это занимает до шести часов кряду.

– Вот и верно, – Браницкая раскраснелась, так как тема эта была ей близка и понятна в отличие от разных политических, которые иногда обсуждали дядя и императрица в ее присутствии – тогда она чувствовала себя в комнате лишней, не то что теперь, – однажды в Варшаве видела я парижский журнал «Курьер де ла мод». Там были нарисованы прически их государыни и уж такие они были потешные – то корабль на голове, то башня, а то еще какая сценка из жизни. А еще говорят, королева переодевается трижды в день и никогда не повторяет платьев. Екатерина звонко рассмеялась.

– С ней, пожалуй, вполне могла соперничать наша тетушка Елисавета Петровна.

– Но платья вашей тетушки, матушка государыня, не столь потешны и вычурны, как видела я в том журнале. Ах, я решительно отказываюсь такое носить. Мне куда ближе новая английская мода. В жару много легче, да и верхом ездить удобно.

– Вот и я по-стариковски простые фасоны одобряю, – вздохнула Екатерина, – Я иной раз даже думаю, что коли б жив был прадед наш великий царь Петр, то я бы рассказала ему, сколь удобна русская национальная одежда для дам моего возраста и просила бы нижайше позволить оным ее оставить.

– Что вы, государыня, – кинулась вновь к ее ногам Санечка и с обожанием и тревогой стала вглядываться в лицо, – вы еще вовсе не стары, матушка Екатерина Алексеевна. Нам бы всем ваш задор, да ваш огонь!

– Ох, Саня! Задору-то все менее остается. Слышала ведь события-то наши каковы. Сначала князь Орлов, потом вот генерал Ланской. Беда все ближе. Оправиться все труднее. Одна отрада Александр да Константин. Твои-то, стало быть, поправились?

– Поправились, государыня. Да, я чай, и вам горевать не пристало. Ваши глаза так чисты, ваши локоны так пышны. Я знаю, – тут она украдкой взглянула на дядю, исподволь рассматривавшего их сидя в кресле насупротив. – Есть один кавалер, что ночей не спит, мечтая вернуть ваше расположение.

Глаза Екатерины не выразили ни недоумения, ни особого интереса. Потемкин же напротив с удивлением посмотрел на племянницу.

– Когда это ты, стрекоза, успела что-то разузнать. Ты ведь и в Петербурге-то всего ничего. С кем сплетничала, признавайся.

– Я дяденька, привычки к сплетням не имею, а вот что видела и слышала сама, то и говорю. – И тут Александра Васильевна поведала о недавнем разговоре между братом и сестрой Полетаевыми, участницей которого она невольно стала.

Потемкин озадаченно смотрел то на нее, то на Екатерину. Государыня не выглядела разгневанной, хоть дерзость графа была налицо. Казалось, желание Погожева вернуть ее расположение, было императрице приятно. Приятно и.... Не кроется ли за ее нежной улыбкой, обращенной куда-то в пространство, какой-нибудь замысел или тайное желание. Какое? Возвратить графа и поселить его в апартаментах фаворитов, давно уже свободных. Нет, матушка, планы теперь другие.

– А причем здесь девица эта, княжна Полетаева? – нетерпеливо перебил он весело щебечущую Санечку. – Отчего она была с графом Погожевым?

Обе дамы замолчали и вопросительно посмотрели на него.

– Я хочу сказать, – уточнил светлейший, – не была ли эта встреча тайным свиданием, представленным брату в ином свете.

Глаза Браницкой жадно заблестели. Глаза Екатерины потухли. Потемкин это заметил.

– Хочу напомнить тебе, Григорий Александрович, что не прошло и полугода, как граф женился по страстной любви.

– Да какая ж любовь, – всплеснула рукой графиня Браницкая, – Мне сестра Татьяна еще осенью писала про их странную свадьбу. Якобы весь Петербург гудел о том, что Погожев с графиней своей тотчас после свадьбы разъехался.

– Должно чего-нибудь не поделил с молодой женой, – холодно сказала Екатерина.

– Ох-ох-ох! – Захохотал светлейший, – ну, матушка, рассмешила! Ты точно и не знаешь, на какие уловки идут иные барышни, чтобы составить хорошую партию! Поймали молодца в силки, сам слышал, как Марья Саввишна твоя похвалялась, мол, если уж она задумала сладить свадьбу, то никто от нее не уйдет.

Государыня переменилась в лице. Но ненадолго, всего на какой-то краткий миг. Потом прошла по своему кабинету, подошла к окну, раздвинула штору и, словно убедившись, что на дворе уж тьма непроглядная, снова отошла, села в свое кресло и искала глазами книгу.

Светлейший следил за ней своим хищным глазом. Видел, что она переживает. Ведь к свадьбе этой и она руку приложила. О чем она сожалела – об утраченном любовнике или о том, что вот так без всяких апелляций вынесла человеку приговор на веки вечные? Не в ее натуре было попирать человеческую натуру безо всякого стеснения. Тем паче, что Погожев ей нравился и очень. Этот вполне мог бы заменить Ланского. Но Ланской был тише и куда более покладист, а этот сам себе голова и тем опасен.

И еще светлейший вспомнил, что это именно Сегюр убедил Екатерину вернуть Погожева ко двору. Не был ли граф Погожев тем самым кандидатом французов? Два и два слишком легко складывались в четыре, но как-то уж слишком легко.

Екатерина молча смотрела на книгу, которую нашла взором, но в присутствии посторонних не желала открывать. Светлейший пытался прочесть мысли императрицы. В кабинете повисла неприятная мрачноватая тишина. Но напряжение как всегда разрядила Санечка.

– Если угодно вашему величеству, – начала она медленно, попутно обдумывая мысль, которая еще не совсем устоялась, – мы можем легко выяснить, как часто они встречаются. Я приглашу княжну к себе и как-нибудь заведу разговор о том, что государыне очень понравилась какая-нибудь моя безделушка, а там и посмотрим, как быстро об этом узнает граф. Ведь коли узнает, то подарком тебе, государыня станет непременно такая же штуковина.

– Ай да Саня! – Вскричал тут Потемкин, – Ну чтож порадей для своей благодетельницы. Вот и посмотрим. Что скажешь, матушка?

– Скажу, что для меня это особенно большого значения не имеет, – со всем возможным равнодушием проговорила Екатерина, – но ежели вам угодно опыты ставить, то ставьте себе на здоровье. Вольно вам развлекаться, да делайте так, чтобы не пострадал никто, и никто не был бы в обиде. Ни единая душа.

Глава пятая. Капризы Полигимнии

Взбодренный известиями Сегюра, а также тем, что театр доехал почти в полной сохранности (пропал лишь один сундук с реквизитом, поломалась пара-тройка бутафорских мечей, да несколько актеров постарше слегли в лихорадке, подхватив по дороге простуду), граф совсем повеселел. Лихорадка сколько-нибудь серьезных опасений не внушала, но к больным был вызван доктор, а старая графская няня отпаивала их своими настоями, которые, как уверяла она, помогут несравненно лучше всех немецких лекарств.

Произведя ревизию костюмов, театральная швея Анфиса Неволлина – мать балерины Малаши, пришла к выводу, что пропал в основном совсем незначущий хлам, который она собиралась пустить в переделку и на штопку. До сих мелочей граф не опускался и даже не дослушал отчет Анфисы Терентьевны до конца. Ему уже не терпелось поскорее заняться делом – обдумывать мезансцены, придумывать декорации, расставлять реквизит и раздавать распоряжения актерам.

О сладостный запах театра! О сладчайшие звуки музыки! О, Мельпомена и Терпсихора! Неужели вы снова царите в сем скромном жилище!

Первый день граф ходил как шальной. Руководил, повелевал, размещал, увещевал. На утро следующего объявил репетицию «Несчастья от кареты». Это для разбегу, пояснил он капельмейстеру. И тот, послушно кивнув, чихнул в сторону, ибо был в числе простуженных.

По совету Сегюра граф решил, что представление начнется уже от входа в дом. Въезд императрицы будет обставлен торжественно и графский подарок она получит вовсе не как его подношение, а как дар Небес, преподнесенный самим Зевесом. Для сего он велел пристроить на галерее, что над сенями некое подобие полатей, или верхнюю сцену, как называл это сооружение граф, где и будет царствовать Зевес, ниспосылающий Амура к ногам Екатерины.

Амуром, слетающим на лонжах с верхней сцены, предстояло стать Маланье Неволлиной, которая еще совсем недавно дебютировала в роли Ангела, принесшего благую весть самой Богородице. Девушка была так легка, что удержать ее не было особенной проблемой. Трудность была лишь в том, чтобы придать Амуру, пикирующему вниз, некое подобие летящей птицы. Для того лонжи было решено прикрепить к талии, а также к ножкам балерины. Этому воспротивился было месть Робер Паскаль, но постигнув, что спорить с графом, с головой погруженным в свои идеи, бесполезно, отстранился и принялся шлифовать искусство балетной труппы, хотя временами еще сокрушался из-за отсутствия Малаши, которая делала все балетные па во сто крат лучше остальных. Она была единственной, кому можно было без колебаний доверить первые партии в любом танце, но увы...

Пока строили верхние подмостки, сам устроитель праздника трудился над стихами, именуемыми им же одой. Фридриху Штальбауму было велено положить сию оду на музыку и выучить с хором. Ода должна стать приветственной песней, встречающей государыню. И в то же время тому отрывку, что более всего брал за сердце, предстояло быть увековеченным на камне, что составит основание табакерки, которую граф был намерен преподнести своей повелительнице. Ювелир Функ уже подготовил нужный камень и ежедневно торопил графа, пугая тем, что работы много и он попросту может к назначенному часу не успеть.

Воздевая руки к небесам и моля чтобы музы вдохновения ниспослали ему свои дары, граф приступил к сочинительству. И первая часть действительно легко далась ему. Надобно сказать, что для стеночек табакерки Функом при участии Федота Проскурина были выбраны красивейшие кварцы-волосатики, которые почитались астрологами камнями тельцов, а императрица, согласно данным новомодной при дворе науки астрологии, была рождена как раз под созвездием тельца, и использование волосатиков в предмете дарения можно было счесть сим-

воличным. Граф не возражал, тем более, что названия кварцев – Волосы Венеры и Стрелы Амура – как нельзя больше соответствовали замыслу и навевали на него поэтические грезы. Он легко зарифмовал сии названия в строфы своего произведения и оказался вполне доволен. Первоначальные куплеты звучали так:

Стрелюю Амура пронзен молодец.
Амур – он Венеры послушный гонец.
Лукав и прелестен резвится Эрос –
Наследник богини златых он волос.

Амур и Венера венчают союз
Сердце вспламененных и жаждущих уст.
О, счастье велико изведать любовь
Прекрасной Венеры – царицы богов.

И именно этим строкам, по мнению графа, следовало остаться в вечности, будучи выгравированными на камне. Однако для оды произведение было слишком мало, и граф без особого напряжения сочинил дальше:

Пронзенный стрелюю Амура молодец
Тоскует и ищет счастливый венец.
О, силы небесны, зачем же мне жить?
Объять Венеры нельзя возвратить.

Но молодца муки узрел сам Зевес –
Он сфер повелитель, богам всем отец.
Златую Венеру любя пожурил
И в память о страсти ларец подарил.

При этих словах как раз на полатах и должно произойти некое действие, сопровождаемое блеском молнии и раскатом грома, после которого на землю к ногам повелительницы-Венеры будет направлен шаловливый Амур на лонжах. В руках Амура действительно будет ларец, который божок вручит государыне, а хор последним куплетом подскажет ей, что нужно открыть сей ларец, чтобы узреть Зевесов подарок.

Граф задумался. Первая строфа пришла сама собой: «А в ларчике этом хранится секрет, – мурлыкал граф, размахивая пером и не замечая, как капли чернил летят на дорогой ковер и бархатный камзол, – а в ларчике этом та-та та-та-та...». Дальше дело шло туго, хотя вот: «Напомнит он нежные страсти обет...». Впрочем, граф сомневался – напоминать ее величеству какие-то там обеты не было смысла, потому как их вовсе не существовало. Но уж больно хорошо получилось: «А в ларчике этом хранится секрет – напомнит он нежные страсти обет». Пожалуй можно оставить, ведь речь идет о языческой богине и каком-то постороннем молодце, никому и в голову не придет сопоставлять Венеру и саму государыню Екатерину. Нет, решительно хорошо. Над концовкой он еще поработает, а вот начало следовало, не мешкая, передать Штальбауму для музыкального озвучания.

На копирование и заучивание слов оды хористами ушел почти день, а когда он миновал, то выяснилось, что верхние подмостки уже готовы, и вполне можно начинать первый прогон действия. Штальбаум, покопавшись в нотах, нашел нечто подходящее к графским строкам. Погожев сам напел ему: «Та-та та-та-та-а-та та-а-та-а-та-та-та» и капельмейстер, ерзая и краснея, подстроил под графское творение кое-что из Моцарта.

И вот хористы с бумажками в руках выстроены полукругом. Оркестранты сосредоточенно смотрят в ноты. Штальбаум взмахнул палочкой. Хор и оркестр вступили одновременно, отчего вся сцена сразу как-то скомкалась. Зевс и прочие небожители, стоя на верхних подмостках, не знали, чем себя занять и только когда пришла пора спустить вниз трепещущего от страха Амура, оживились и задвигались. Амура они почти силой скинули вниз, и девушка еле живая от непривычного состояния полета, сразу же выронила из рук шляпную коробку, призванную изображать ларец, подаренный Зевесом. Алексей Васильевич остался не доволен. Все было вяло, актеры напоминали марионеток, и текст не вязался с действием. Получалось, что Амур слетает с верхних подмостков под куплет, в котором поется о том, что Зевс Венеру пожурил и подарил ларец, а на самом деле Зевс журит Венеру именно в тот момент, когда хор поет о тоске юноши, утратившем любовь прекрасной богини. Сие никак не сочеталось. Нужно было что-то делать. Прежде отправили наверх Амура и велели всем небожителям как-то оживить действие, изобразив хоть какие-нибудь сцены из жизни.

Оду повторили, но теперь получалось так, что Амур слетал к ногам императрицы уже под тот несуществующий куплет, который еще предстояло дописать, но куплет этот предполагалось написать о том, что в ларчике что-то лежит, а не о том, что ларчик Зевсом Венере подарен. Под те строфы, где говорится, что Зевс Венере ларец подарил, Громовержец вручал ларец как раз Амуру. Нет. Это вовсе не годилось.

Граф сызнова отправил Малашу наверх, а сам нервно заходил по сениям. Теперь он решительно был разочарован во всем. Первые два куплета вообще не были обставлены никаким действием и как бы актеры не пытались изобразить величественные жесты, присущие лицам, населяющим Олимп, общее действие это вовсе не скрашивало, а как раз напротив, придавало ему вид глупейшего фарса.

Вот тут он и возблагодарил небо, что есть в его труппе Робер Паскаль, который, узрев муки мецената, тотчас предложил оживить встречу императрицы маленьким балетным представлением. Граф, сразу оценивший идею, чуть было не расцеловал Паскаля. Немедленно воспрял и потребовал прогнать все действие сначала, хоть пока и без балета. Теперь хор должен был вступить позже на несколько тактов, дав возможность балету оттанцевать сюжет, изложенный в стихах. Решено было, что небожителям уместно выходить на верхние подмостки только к тому времени, когда хористы начинали петь третий куплет. И вроде бы все как раз сложилось, но Амур по-прежнему слетал с верхних подмостков не тогда, когда этого требовалось.

На этот раз графу на помощь пришел Штальбаум, который предложил сделать некую паузу как раз в том месте, когда Зевс журит Венеру. Граф и это воспринял с удовольствием и даже придумал, что Зевс блеснет в воздухе бутафорской молнией, а в соседней зале будет установлена машина грома, которая издаст небольшой раскат для придания достоверности действиям Громовержца.

Чтобы удостоверится, что идея его действительно удачна и раскат из соседней комнаты будет достаточно хорошо слышен, Погожев потребовал установить машину немедленно. А поскольку это требовало времени, в репетиции был объявлен перерыв, закончившийся куда быстрее, чем хотелось бы Малаше Неволвиной, которая бледностью могла бы теперь сравниться уже только с белеными потолками. Глядя на нее, Анфиса Терентьевна лила горькие слезы, а Федот Проскурин, которому до Погожева было дело, задержался в сениях, и на лице его было такое решительное и недовольное выражение, что пристало бы самому Пугачеву. Однако Алексей Васильевич совершенно ничего не хотел замечать. Он был болен своей идеей и настроен, во что бы то ни стало, воплотить ее в жизнь. Поэтому, как только машина была готова, объявили новый прогон.

Заиграла музыка, хор вступил как раз там, где нужно. К третьему куплету на верхних подмостках показались Зевс, его супруга Гера, Амур и другие жители Олимпа. Зевс в нужное время поиграл золотыми молниями и управляющий машиной грома, установленной в соседней

зале, не пропустил момент для извлечения звуков, положенных громовержцу. Хор тактично приостановил свое повествование о муках молодца как раз в этом месте. Именно в этот момент Амур, получив ларец, медленно начал спуск на лонжах. Хор озвучил полет последней строфой законченного куплета. Все прошло не плохо, если не считать, что с ноги девушки соскочила веревка, и она от растерянности нехорошо приземлилась. Граф великодушно махнул рукой, решив, что огрехи в действиях труппы будет латать, когда замысел будет ясен весь целиком.

Далее после спуска Амур должен был протянуть императрице ларец, а хор подсказать, чтобы государыня ларец открыла. Но текста больше не было, а Амур, с трудом очнувшийся от своего сошествия с верхних подмостков, был так бледен, что походил скорее на привидение.

Алексей Васильевич велел привести актрису в чувства, а сам удалился в кабинет для поэтических трудов.

Он ходил по кабинету, меря его шагами взад-вперед и по диагонали, и без конца твердил то вслух то про себя первые две строфы заключительного куплета. Дальше надо было бы что-нибудь про вечную любовь и неугасающую страсть, но поскольку таковых в сердце не было, то и нечему было вылиться на бумагу. Погожев напрягся. Ну, для чего тогда все это затеяно? Чтобы богиня, то есть Венера, то есть императрица уверилась в его искренних чувствах... Да уж какие они искренние! Он, признаться, сам уж так в своих чувствах запутался, что и не объяснил бы... Впрочем вот: «Узнает Венера вечерней порой... что молодец верен всегда ей одной». Хотя, почему вечерней? «Узнает Венера весенней порой, что молодец...».

Посчитав сей вариант сносным, граф выбежал в сени и заставил хористов заучить текст с голоса. Две простеньких строфы улеглись в головах людей без особого труда. Погожев потребовал новый прогон, но теперь уже с положенной концовкой. Изображать императрицу, принимающую дар Зевеса, должен был сам граф. В этой роли он как никто другой сможет увидеть действо со стороны и оценить все его преимущества и огрехи.

Благодаря небольшому перерыву Малаша несколько собралась с духом и этот дубль отыграла с блеском. Спускаться она уже почти не боялась, а шляпную коробку научилась держать так, что та уж больше не вываливалась у нее из рук. Однако ж граф на этот раз остался недоволен своим произведением. Все-таки концовка нехороша. Варенька! Она наверняка будет присутствовать. Ведь она фрейлина императрицы. И что же она услышит? Что он, молодец, граф Погожев, верен одной императрице. И это после того, как она положила медальон в ящик Амура можно сказать прямо у него на глазах! Да он просто олух, если оставит концовку такой, как есть. Граф не велел актерам расходиться, а сам сызнова отправился в кабинет.

Вот уж который раз он перемеряет пространство шагами, а все каждый раз разное количество оных получается. Тьфу! Да о чем это он думает. Ода! Ода горит. Надо вернуться с небес на землю, хотя скорее, наоборот, с земли на небеса. Так что там с Венерой? Ах, Венера! Да. Что-то с ней надо делать. Напомнит обет... Напоминать, конечно, особенно нечего. Но... Не может быть чтоб совсем ничего не осталось у нее в сердце. Не такова она, эта богиня. О! Что-то есть. Обет.. та-та-та. Он сердце богини вернет молодцу и... и... и дела прибавит Венеры гонцу». ОНО!

Граф попрыгал в такт своим строфам и, коли не боялся бы потерять лица перед крепостными, так и прыгал бы по лесенке, распевая.

Он сердце богини вернет молодцу
И дела прибавит Венеры гонцу.

Но так все-таки было нельзя, и он вышел к народу сосредоточенный и сдержанный. Хористы вновь с голоса заучили последний куплет графского творения, но при воспроизведении не сбились только благодаря тому, что единственный, кому достался лист бумаги с новым текстом куплета, вовремя и очень громко, хотя и несколько фальшиво заголосил «Он сердце богини...», перекрывая зазубренное хором «Узнает Венера весенней порой...». Граф отметил старания хориста, но мысль, которая посетила его, когда он вдумался в сию строфу,

поразила не хуже, чем стрела Амура сердца внезапно влюбленных. Потемкин! Даже если представить, что он не пожелает быть на празднестве вместе с Екатериной, все одно ему уж точно донесут про «дело, которое будет добавлено Венеры гонцу!» Так открыто и бесшабашно заявить о своих намерениях почти мужу, а может быть и мужу, вдруг разговоры не беспочвенны... Ой-ой. Граф нахмурился и направился в кабинет для встреч с поэтической музой.

Вначале голову не посещали никакие совершенно мысли. Граф колотил костяшками пальцев по столу, сбил на пол пару каких-то вазочек – и не случайно, а намеренно, чтобы немного охладить раздражение его охватившее. Оно как-будто и впрямь ушло, и разум проглянул сквозь пелену густого тумана, что клочками повис на мозгу. Ведь чего все-таки графу надобно? Добрых отношений с императрицей. Боле-то что! Ничего боле он уж не желает. Вот если б можно было добиться расторжения брака с Прасковьей и жениться на Вареньке! Но такого ему никто не позволит, пиши стихи или не пиши... Стоп! Кажется есть! «И дело направит к счастливому венцу... Концу...» Та-та та-та-та... И дело к счастливому склонит венцу». Венец это преждевременно. Венцу-концу. Да, лучше «концу». Погожев, боясь бросить лишний взгляд в сторону, чтобы не сбиться, торопливо записал:

А в ларчике этом таится секрет.
Напомнит он нежные страсти обет.
Он сердце богини вернет молодцу
И дело к счастливому склонит концу.

Вот так! Конечно, такой строфой нельзя гордиться, но она должна удовлетворить всех. По крайней мере, так казалось Алексею Васильевичу. Он широко распахнул дверь, по обыкновению, подмигнул портрету отца и снова направился в сени, где томились его подваластные. На этот раз текст был запомнен намного быстрее. Возможно оттого, что последняя строчка, которая собственно только и поменялась, была куда проще предыдущей. Актеры справились с ней блестяще. Привыкшая к высоте Малаша почувствовала себя на лонжах уверенно и в ней даже вдруг появился некий кураж. Во всяком случае, она элегантно приземлилась и величественно подала Погожеву шляпную картонку, отчего сцена дарения выиграла, а девушка в графских глазах приобрела вдруг какой-то особый шарм и очарование.

На эту пору, а с того момента, как Робер паскаль предложил Алексею Васильевичу свою помощь, прошло уж не менее двух часов, выяснилось, что балет уж готов и Погожев пожелал немедленно посмотреть весь маленький спектакль, сочиненный с таким трудом, в целости. За сим последовало несколько генеральных прогонов, в коих постоянно что-то не шло и сбивалось. То хор вступал не там, то раскат грома получался совсем уж несущественным, то балерина делала не то па, по причине того, что балет был еще плохо отрепетирован. Словом, генеральных прогонов было несколько, и ни один не удовлетворил Алексея Васильевича в полной мере. Наконец, видя, что труппа совсем измотана и ощущая жуткую головную боль, он махнул рукой:

– Ну, последний раз и отдохнуть.

Но и на этот раз все пошло кривь и вкось. Уставшие и с утра не имевшие во рту маковой росинки, актеры, делали над собой усилия, чтобы все исполнить гладко и именно оттого все было как раз наоборот – с сучками и задоринками или, и того хуже – с целыми бревнами. Танцовщики наступали руг другу на ноги, Зевс, делая величавый жест, слишком резко отступил назад и чуть не свалил с подмостков верную жену Геру. Отчего нимфы и сатиры, на которых был возложен спуск Амура с заоблачных небес, неожиданно, словно желая несколько уменьшить толчею на густонаселенном Олимпе, принялись спускать Амура, еще даже не получившего положенную ему шляпную коробку.

Амур не смутился, а потянулся к протянутой ему Зевесом коробке, но от его движения, какая-то пружинка из застежки, коей была приделана к его костюму лонжа, сработала, и лонжа

с Амура начала предательски слетать. Малаша опять не растерялась – вцепилась в нее руками, но растерялся сатир, что управлял этой лонжей. Он отчего-то потянул ее с силой вверх и из-за этого чуть не полетел вниз сатир, управлявший лонжами, привязанными к ногам. Когда же он резко отступил назад, чтобы удержаться, веревка, которая уж слетала с Малашиной ноги, снова съехала и теперь девушка осталась висеть на высоте пяти с лишком аршин, лишь на одной лонже да на слабеющих руках.

Балет и музыка как-то вдруг прекратились. Сатиры ждали команды, что делать с балериной – спускать вниз или может быть поднять снова на Олимп. Граф, пробудившись от своей поэтической полудремы, вдруг постиг происходящее, и поняв, что силы девушки на исходе, подбежал как раз к тому месту, куда готова была уже рухнуть Малаша. Тут он резко скомандовал опускать девушку вниз. В это самое время боковым зрением он увидел, как от толпы дворни отделился еще какой-то человек и подбежал к нему, но внимание Алексея Васильевича было так поглощено Малашей, что он даже не понял, кто это. Не понял до той самой минуты, пока балерина не свалилась с веревок прямо им обоим на руки и больше даже к тому другому, чем к нему.

Тогда только Погожев посмотрел на своего помощника и увидел Федота, который теперь уж полностью завладел Малашей и держал ее на вытянутых руках с тем же трепетом, как, бывало, свои коробки с минералами. Малаша была без чувств и еле дышала. Лицо ее казалось почти серым, а руки так и остались сцепленными со спасительной веревкой.

– В постель ее, да немедля найти Анфису, – скомандовал Погожев, но тут же увидел, что Анфиса Терентьевна уж тут, возле дочери и цветом лица почти такая же как та.

– Ну чего стоите, – рявкнул он на прочих представителей дворни, – доктора зовите! Быстро! Коли не отойдет, всех на конюшни сошлю!

С этими словами расстроенный, и оттого еще более жаждущий деятельности Погожев почти силой выхватил у Федота так и не пришедшую в себя Малашу, и стал подниматься с ней по лестнице. Но он понес ее не на третий этаж, где были размещены актеры, а в свою спальню. По привычке ли, по незнанию ли конкретного места проживания Малаши, или по какой другой причине так получилось, но получилось именно так, что через несколько минут Маланья Неволена уже лежала в графской кровати, а Анфиса Терентьевна, робко просочившаяся в дверь двумя секундами позже, держала у нее на голове ледяную примочку.

Граф хмурился, камердинер Прокопий Власьев с кислой миной взирал на тазик, в котором плавал лед. На изящном инкрустированном золотом и перламутром столике, куда поставили таз, образовалась лужа, которая непременно предмет мебели испортит, а назавтра граф обязательно с него, Прокопия, спросит за несохранность дорогой вещи. Следовало бы таз этот немедленно со стола убрать. Но Анфиса Терентьевна беспрестанно обмакивала в него белую тряпицу, чтобы сделать дочери примочку. Граф же с такой тревогой и вниманием взирал на все это, и с таким нетерпением обрывал всякое шевеление Прокопия в сторону постели или столика с тазом, что просвещенный камердинер, хотел было уж даже и обидеться.

Ну что, в самом деле, из-за крепостной девки причинять себе такой урон. Да еще доктора велел вызвать! А доктор-то еще денег за визит возьмет. Глупость какая. И ладно бы девка стоящая, как Стешка например – тут все при ней и телесные так сказать формы в порядке и голосина такой, что глухого за душу возьмет, а это-то что. Худа ведь как кол, только и умеет, что порхать, аки мотылек. Вон, дела графом порученного, и то выполнить не сумела.

Когда Маланья открыла глаза, граф тотчас склонился над ней и с такой надеждой смотрел, что у Прокопия в душе зародилось некое подозрение. И подозрение это окрепло, когда Погожев неожиданно поцеловал маленькую прозрачную ручку балерины, а как у той из глаз хлынули слезы, даже промокнул их своим платочком. Смотри, пожалуй, промелькнуло в голове у просвещенного камердинера и он, почитая себя не особенно нужным, поспешил выскольз-

нуть за дверь. Следовало порассказать кое-что Степаниде Семеновне. Порассказать поскорее, там уж может и поздно будет.

Доктор застал Маланью уже сидящей в постели. Молодой организм да еще привыкший к театральным нагрузкам, когда весь день репетиции до изнеможения, а вечером почти каждый раз новый спектакль, быстро восстановился под воздействием отдыха и наверное еще страха перед повелителем-графом, которого Малаша неожиданно нашла возле своей постели. Страх, того более усилившегося, когда она поняла, что и в постели-то она не в своей, а в графской. Когда же еще выяснилось, что для нее специально вызван доктор, то Малаша чуть снова не упала в обморок. Но все же ее взял интерес- живого доктора она вблизи никогда не видела, а это, говаривали в дворне, люди очень занятные, и всегда с причудами.

Доктор, осмотрев балерину, не нашел у нее ни единой болезни и только покачал головой, когда увидел ярко-красные рубцы и волдыри вокруг правой щиколотки – след от веревки. Велел это место смазывать мазью и тотчас достал откуда-то склянку. Отворять кровь актрисе не стал. Только велел накормить ее крепким куриным бульоном и уложить поскорее спать. Сии рекомендации были тотчас исполнены. Маланье принесли супу, который она с завидным аппетитом смолотила, и оставили все тут же почивать. Граф же, вспомнив, что не имел с одиннадцати утра до девяти вечера во рту ни кусочка, отправился в столовую залу, где отведал обед и ужин сразу.

Успокоенный и сытый, он откинулся на спинку стула и не заметил, как уснул. Сон его был все о том же – о спектакле. Он уже видел ярко освещенную залу, императрицу в платье, усыпанном бриллиантами, сдержанно улыбавшегося Потемкина, вельмож с заострившимися от зависти физиономиями и глазами, беспрестанно скользящими по лицам тех двух первых и стремящихся выказать именно те чувства, которые отражаются на их лицах, как вдруг кто-то потревожил его. Он отверз сонные очи, недовольный тем, что ему не дали досмотреть, что будет дальше, и тут узрел Степаниду, мягко и нежно улыбающуюся.

– Пойдем почивать, солнышко мое ясное, – уговаривала Степанида, – не гоже тебе опосля дня трудов, так-то себя терзать, чай есть для сна постеля.

Граф мягко отстранил ее, все еще не довольный тем, что она не дала ему досмотреть милое сердцу видение и сонно заурчав, зевнул и потянулся.

Но она не уходила, а все манила к себе, говоря мягким голосом, что пора его сиятельству спать и нужно-де идти в опочивальню. Часы в поддержку Степаниды отбили четверть двенадцатого.

Граф нехотя поднялся и поплелся к себе, не сказав Степаниде ни слова. Почти в полусне он миновал несколько комнат, что были на пути к спальне и тут с удивлением увидел в зале, что самым непосредственным образом спальне предшествовала, чинно расхаживавшего Федота Проскурина. Должно у него было дело до графа, касаемое каменьев. Но граф теперь уж так хотел спать, что только поморщился и сказал капризно:

– Поди, голубчик. Все завтра.

Федот поклонился, но не ушел. Во все глаза смотрел на графа и шествующую вслед за ним Степаниду. Графу было уж все равно, пусть хоть до утра ходит. Он распахнул дверь спальни и тотчас огляделся в поисках Прокопия.

О-о-о! То, что он увидел в тусклом свете свечи, заставило его пробудиться. Разметавшаяся и порозовевшая во сне Малаша, была хороша уж не миловидностью пухлощекоего божка Амура, а прелестью молодой здоровой девушки, которую крепкий сон сделал столь привлекательной, что никакие белила и румяна не в силах сделать с иной особой женского пола в дневное время. А какова она была в своей роли! Изящна, легка, пластична. Невесомые одежды развевались, открывая взгляду стройные ножки, обтягивая округлые бедра и крепкие ягодицы.

А ее взор! Как он горел озорной радостью, когда все удавалось и какой грустью наполнялись ее глаза, когда что-то не получалось. А ведь ее роль была пожалуй самой трудной. Графу страстно захотелось вознаградить ее за старание. Так страстно... что он повернулся к Степаниде, молча взиравшей то на крепко спящую Маланью, то на повелителя, в голове которого бродили совершенно не доступные ей мысли, и проговорил:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.